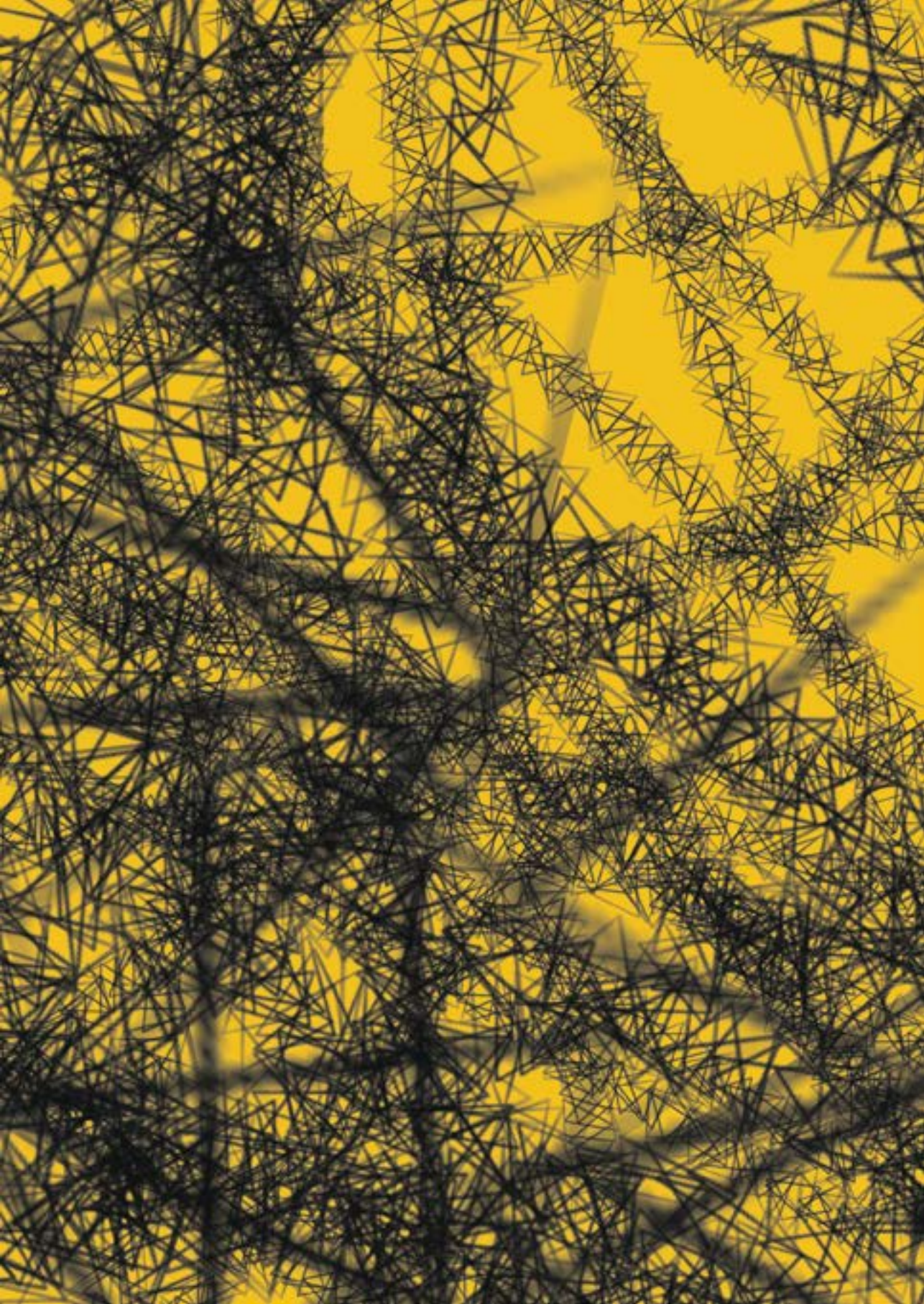
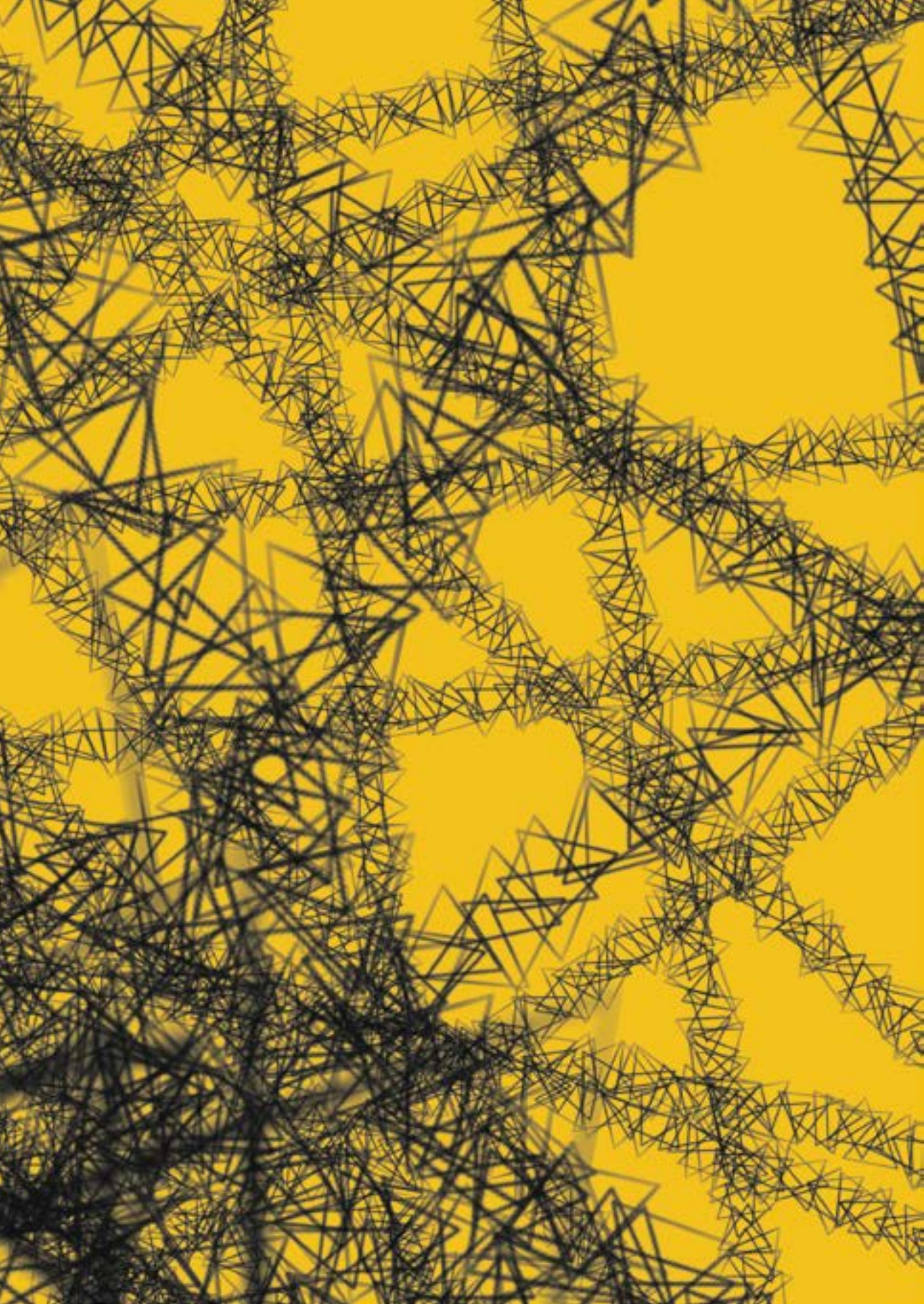


РОЙ

литературный альманах

A stylized, handwritten-style logo or signature in yellow, located in the bottom left corner of the cover. It consists of several loops and curves, resembling a calligraphic monogram or a signature.







Vědecko vydavatelské centrum
«Sociosféra-CZ»



Прага
2020





РОЙ

Независимый альманах
современной литературы



ББК 84(2=рос)6
УДК 821.161.1 – 8

Рой: литературный альманах. – № 0. – Прага :
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2020. – 163 с.
ISBN 978-80-7526-475-6
Редакция: almanah.roj@gmail.com
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакционный совет:

Марина Герасимова
Анна Мартышина
Вера Дорошина
Анна Коржавина
Антон Шумилин
Юлия Арямова

Дизайн и вёрстка:

Рябова Анна

Иллюстрации:

Рябова Анна

ISBN 978-80-7526-475-6

© Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2020.
© Редакция журнала «Рой», 2020.
© Рябова А., 2020.

Предисловие редактора

Любопытно? Ты заглядываешь под обложку, и твои уши улавливают едва различимое жужжание, многоголосие авторов. Здесь они слились в единый «Рой», несущий, как бы высокопарно это ни звучало, нектар поэзии (даже в прозе) под эту скромную обложку.

Рой влажный чернозём текста — крепкой лопатой разума или тонкими чувствительными пальцами души. И возможно, среди индустриальной бутафории, шлакоблоков и промышленных отходов ты найдёшь настоящее сокровище, предназначенное только для тебя!

Альманах базируется в Пензе, но не закрывает свои границы для других городов и даже стран. Для нас не важны литературные регалии, известность и признанность наших авторов. Гораздо важнее художественная ценность текстов, под которой мы понимаем логическую выверенность, образность, метафоричность, богатство смыслами. Мы надеемся создать серию выпусков альманаха, привлечь к сотрудничеству множество интересных нам авторов и одновременно открыть для себя новые имена в современной литературе.

Мы назвались альманахом, а не журналом, потому что журнал предполагает строгую регулярность, периодичность выпусков, а понятие «альманах» оставляет за собой свободу и не даёт обнадёживающих обещаний.

Мы назвались независимым альманахом не для красного словца, это издание вышло с нулевым бюджетом благодаря команде энтузиастов. Мы не зависим ни от каких организаций и сообществ, у нас нет спонсоров, и просить у кого-то деньги на издание противоречит нашим принципам. Хотя, если чудесным образом найдутся желающие поддержать нас морально и физически, мы не откажемся от любого вашего вклада в развитие и популяризацию современной литературы.

Итак, «Рой»!

Марина Герасимова



Полифлёр:

творчество местных авторов

Be

Тебе с каждым днём
Всё больше идёт неподвижность.
Под коркой черепа твоего
Пробуждаются семена
И израстаются в хитросплетения корней,
Не пробиваясь наверх.
Источился твой крик
В одну линию,
Плотно зажатую между губ.
И я жду,
Что посыплется мне на ладонь темнота,
Когда пальцами веки твои разомкну.

Юлия Арямова

г. Пенза

Стихотворения

Носферату

За окнами Висборг картонный
Горит предрассветными снами.
С ним вместе горит Носферату,
От боли стерильной светлея.
Об этом не знающий ветер
Чумой засеваает кварталы,
Где люди, беспечно проснувшись,
В зашторенных бархатом жизнях
Читают Камю и сменяются.
И пальцы бескровные тянут
К бессолнечным газовым лампам.

Когда-нибудь город тебя обнаружит
И скрутит жгутами улиц.
И всё, что ты видел в каменных сотах,
Увидит тебя в ответ.
Тебе не укрыться от этого взгляда,
От восковой заботы —
Ты будешь спасён
И любовно нанизан
На внутренний стержень жизни.

Обвив за шею мягкими руками,
В зелёных сумерках весенних топишь,
В своих зрачках лелея океаны
И медный запах изумрудной крови.
Я пузыри бессильно выдыхаю,
Наполненные человеческой речью,
А в уши мне вливается солёный
Дельфиний крик и нежный скрежет волн.
Вдыхаю воду и вдеваю крючья
В твою серебряную рыбью кожу.

До последнего зёрнышка выклеван пустотой,
Разве в силах ты танцевать на конце иглы?
Собери мощей своих невесомый лом
И зарой под камнем, проросшим смотреть весну.
Рты зрачков, растворённых в крике, вморозь в сон.
Память вымочи в страхе и рыбам отдай на корм.
Ненасытный поиск Голконды обрёл итог.
Погружение глубже не пустит кругов по земле.

На могиле твоей
Я шептал в чернозём
Сновидений солёную вьюжную гарь.
А когда отгорел
И остывшими хлопьями памяти лёг отдыхать,
Муравьями растаскиваться на кров и кормить траву,
Ты поднялся из почвы,
и каждый дымчатый лист
Смутно помнил о пепле и радостно трепетал.

Как мне тебя отозвать?

Имя — доспех.

Ты запаян в пластмассу и мёд.

И не сбежишь, обезволенный, даже в смерть.

Вдовы целуют забрало и голосят.

Вдовы хохочут и рвут твою плоть на хлеб.

Рот:

мой зашит,

твой — замазан (кровью) землёй.

И между нами ни кожи, ни времени нет.

Ты, перемолотый в сны, прорастаешь в меня.

Имя — побег?

Сколько ран ни скопил,

Все в железо оправь и носи.

Потаённого пламени эхо

Лелей до углей

И не спи десять тысяч веков,

Охраняя свой страх.

Цепеней.

Ночь впрядёт в эту мягкую цепь

Нерассказанный мир.

Проёшь, прокричишь, промолчишь —

Дисгармония повторит.

Возвращаюсь в места, куда город ещё не дорос,

По оврагам искать глинолепную благодать.

Возвращаю степи свой иссохшийся птичий скелет.

Исцели себя сам по следам на примятой траве

И раскройся по линиям твирью, савьюром, землёй.

Елена Барина

г. Заречный
Стихотворения

Из их рук ничего не бери
и старайся держаться дальше.
Ты поймёшь, когда станешь старше,
то, что я тебе говорил.
Будет голод. И будет хлеб
в их руках. Только лучше умри.
Ведь посадит тебя на цепь
тот, который тебя прикормил.

А помнишь время, когда драконы
гнездились в ратушах, точно птицы?
И мой был рыжий, а твой — зелёный.
Зелёным проще с листвою слиться,
чем рыжим с солнцем. Обычно в восемь,
хвосты сплетая — зелёный с рыжим,
они взлетали... Ты слышишь: осень
так безнадежно и хрипло дышит?
Темнеет рано. Летят вороны
со свалок в город: Хвала прогрессу!
Жить стало проще. Убей дракона! —
звала реклама — Спаси принцессу!
Герою будет и плащ, и шляпа,
фонтан и пляж, и дворец культуры,
и император позволит папой
себя назвать, но в обмен на шкуру.
Дракон — угроза. Дракон — зараза.
Гуано тонны и сплошь эксцессы.
И ты влюбился в принцессу сразу,
а я не вышел тогда из леса.
Поправь корону. Как королева?
Мигрень, конечно. И астма тоже?
Твой был со шрамом на ухе левом —
задел за месяц неосторожно.

Твой был с серебряными ноздрями,
Любил, когда ему чешут брюхо.
И да, мы были с тобой друзьями,
деля одну на двоих краюху.
Мелькнули искры в зелёных кронах? —
так это осень. Писала пресса,
что ты, убив своего дракона,
велел других заковать в железо.
А мой был ласковый и ушастый,
свистел без умолку, как синица...
Ты осторожней по лесу шастай,
Неровен час, что-нибудь случится.

— Ничего, — говорит, — как-нибудь
дотерпеть до мая, а там
вновь из города прочь рвануть
на свиданье к цветущим садам.
— Ничего, — говорит, — не дрейфь,
хватит на зиму нам чудес.
И понять не поймёшь, то ли эльф,
то ли ангел он, то ли бес.
— Ничего, — говорит, ставя чай...
Колдовская летняя смесь —
мёд и травы странно горчат,
словно собраны где-то здесь.
Своё сердце кладёт в мой стакан:
— Поболит, — говорит, — да пройдёт.
Жалко что ли? Наверняка
завтра новое отрастёт.
— Ничего, — говорит, — ничего.
Согревайся, да не робей.
Ничего здесь нет твоего
среди этих стен да цепей.
— Доживём, — говорит, — до весны,

а потом — к худу или к добру? —
нам дорогу укажут сны.
Я тебя с собой заберу.
Мир пустым стаканом из рук...
Ну куда ж теперь без сумы?
Всё больше и громче стук
сердца, данного мне взаймы.

Впадая в любовную ересь,
несу несусветную чушь
мимо соседской двери,
деревьев, прохожих, луж,
фермы колхозной, где сивой
кобылы белеет скелет...
Иду я, безмерно красивый,
любви источая свет,
фабрики брошенной мимо,
где ржавчина ест фрезу...
Навстречу идут пилигримы
и что-то своё несут.

Послушай, не знаю, что будет со мною.
Я просто смотрю на опавшие листья
и чувствую: холод уже за спиною
мне дышит в затылок, подкравшись по-лисьи.
И всё тяжелее хандра и усталость,
И выстудил сердце полуночный ветер.
И всё, что осталось, — последняя радость —
смотреть, как на санках катаются дети.
Стоять и смотреть всей душой нараспашку
на этих бездельников и остолопов,
себя узнавая в смешном первоклашке,
бегущим на спор босиком среди сугробов.

Пересказчики снов собираются по вечерам и редактируют сны, чтоб они совпадали точь-в-точь с одиночеством каждого, чтобы, хлебнув сто грамм их лунного зелья, я мог игнорировать ночь. Я то пересчитывал деньги, которых нет, то рвался вину искупить, то раздать долги... друзей своих звал, чтобы с ними делить обед, но к ужину мне уже были нужны враги. Я белую птицу ловил, чтоб её запереть в клетке грудной и, сгорая, кричать о любви, лишь оттого, что молчание — это смерть, если у каждого — руки в чужой крови... Я тысячу раз разбивал этот чёртов флакон с зельем навязанных ими стандартных снов, но, просыпаясь, я вновь погружался в сон, путаясь в хитросплетеньях их липких слов. И звёздная пыль принимала все формы чудес, и Шакти плясала, и Шива бил в барабан. Но, как оказалось, я никогда не был трезв... Но, как оказалось, я и сегодня пьян.

Сон ли снился такой:
потерявши и лапы, и маску,
я плыла под водой
маслянистой, зелёной и вязкой,
забывая дышать
от надежды, что вырастут жабры,
рассмешив лягушат
своим плаваньем глупым и храбрым,
распугав пескарей
своей тенью огромной и страшной.
Дальним рёвом морей
опьянённая, клеточкой каждой
ощущая вокруг
растворённую нежность касаний
чьих-то губ, чьих-то рук,
чьих-то слов, растворённых в молчании.
Сон ли снился такой?
Я стою, задыхаясь от плача:
на волне голубой
мой весёлый качается мячик...

Дай, друг, мне скорей ладонь —
иначе с ума сойду.
Что видел и видит огонь?
Одну темноту.
Он вспылчив, неровен и слаб
в ночи у земли на груди.
Рукой, а не стёклами ламп
ты его защити.
Нас истины сводят с ума...
Друг, дай мне скорее ладонь!
Что видит крошечная тьма?
Да, конечно, огонь!
Руками, а не стеклом
храним, он горит на ветру.
И тьма ощущает тепло.
А огонь — духоту.

Вечность вздыхает: одно и то же...
крутит со скуки стрелки часов,
корчит из зеркала жуткие рожи,
слушая гул голосов.
Всё ей понятно, привычно, знакомо,
как повторяющийся сюжет.
Мальчик играет в луже у дома.
Мальчику восемь лет.
Мальчик играет, не замечая
вечности, что у него за спиной.
Мальчику снятся и снятся ночами
снежное поле и конь вороной,
море, шторма и зарытые клады,
солнце, горящее в луже огнём.
Мальчик упорно не чувствует взгляда
вечности, что прорастает в нём.

Мокрый, весёлый, от жизни пьяный,
не оборачивайся назад!
Этой Горгоны тебе ещё рано
видеть завистливые глаза.

Уж они-то точно молчать не будут:
Караванщик пьян и худы верблюды!
Всё не слава богу, парень, всё худо!
Всё припомнят и ничего не забудут.
Всё припомнят, поскольку доподлинно знают,
что, кому и как делать было бы лучше,
и поэтому встретят не караваем...
и проводят взглядом злым и колючим.
Но когда ты шагал, от усталости пьяный,
и верблюды дохли твои, точно мухи,
протирали они мягким местом диваны,
и болтали, и пили, зевая от скуки.
Так что ты не тащи этот хлам в свою память,
лаем сердца усталого не бери.
Помни, парень, моськам положено лаять,
а каравану — должно идти.



Сергей Жидков

г. Пенза

Стихотворения

Утренний лес мыслями встретит,
Седыми и необдуманными, как лица внезапно
открытых календарей.
Зебры берёз промчатся на чёрном велосипеде,
Синхронно расскажут, как мало осталось
зверей на свете,
А те, что живут, — из книги — краснее,
чем шарфики снегирей.

Осмотревшись, находишь себя — лишним,
И таким совершенным — парфюм грибов.
Ни седых волос, ни больных зубов —
Вот стоит во весь рост пред тобой любовь
И своим сомбреро тебя выше.

Утренний лес, дневной и вечерний,
Возвращает ботинки куда-то назад —
Липкие свёртки тропинок сквозь облепиховые тернии —
Мыльница озера с паром волшебным, наверное?
С велосипедом не вместишься в этот фасад.

За косточку схватишься, трещинку, веточку,
Все весточки зарослей чутко прочтёшь взахлёб,
А потом, как и все, — колесом — по судьбе кузнечика.
Велосипеду — что до вывиха его плечика?
Колесо истории ровно летит вперёд.

Так скорее — с лесными шишками, фотками, байками
В свой домик панельный, в мониторную жизни сеть,
Письма с кузнечиком — в ю-трубы зелёною стайкою,
Увидят друзья — и трупик его залайкают.
Сердечки за чаем до ночи не перечеть.

Не больше одной жизни вмещает моя печаль,
Не сочнее ботвы цветочной на нитке держится голова.
Ночь расселась во всю спальню, красноречивая, как сова.
Я лампу оставил спящей, даже глаза не включал.

Сова, что меня укрыла, страхом не тронет кота,
Никому она не вредна, только себе верна.
Свечи весь вечер? — Прекрасно, но заманчивей темнота, —
Когда чересчур всего, убедительна лишь она.

И всё, что сова обволакивает, цельно, как скрепыши,
Неотразимо светом, солнцем, лучом, супердроном.
Но если наступит утро, сова упорхнёт с балкона,
Оставив мне светлый город, в котором придётся жить.

Череп лодки режет селёдочная листва,
Разгребая секреты и кудри полночи.
Оторванный низ неведомого существа
Усердно просит меня о помощи,
А что я?

Все улитки и рыбки слетели с катушек,
И кривится реки заводная лента,
Будто кто-то в жизнь водяных зверушек
Сквозь туман черпаком добавляет абсента.
А что я?

Ночь мостит-растит во мне катакомбы,
Сквозь клетку рубашки и крест нательный,
Что-то дышит сквозь даже сердечную помпу
Чуть-чуть запрещённо и огнестрельно,
И я...

я только каюсь, маюсь и растворяюсь...
Всё проносится ливнем солёно-синим,
От нужды на ногтях нарастает нарость,
Наступает рассвет и дует Эль-Ниньо.

Ты нажмёшь «удалить», в дальний угол кармана забросив память.
Запах кофе на пристани тянется ввысь.
Хорошо, — есть рюкзак. Его крылья — только расправить,
И нащупаешь змея воздушного жизнь.

Твой курсор ловит блёстки бегущего мая —
Короб звуков проснулся и вновь замолчал.
Все ракушки и щепки к душе примеряя,
Ты не знаешь, на что растронжирить печаль.

Может, ёжика встретишь — ночного ваганта,
Бесконечность дорог — это сеть паутин.
Выбирай, выбирайся, раскручивай карту.
Запах кофе на пристани горек и длинн.

Вечерняя тяжесть безумно случившихся дел
Жабёнкой уселась подслушивать, чем дышу —
Кофейным соблазном иль сервисом ноптевым?
Но я не дышу, я устал, — тяжело живым,
Потому что живые должны всегда и всем.

На асфальте утренних дел гудроном разлито жирное «Г»,
Выдрали руки домам, и теперь они просто глазами молчат.
Утро, истерика солнца и гей-парад.
Мне выпадают монеты, осы и лимонад,
Дворнику — стыд узнаванья, чем сдулся ночной чат...
Но вечерний глоток Арбата — и вот — Ore-ge! —

Удаль угрюмого нытика облаком дыма — вперёд! —
Застилая условную крышу и башенную морковь.
Кто соломинкой пробует жизнь из бокала цвета воды?
Кто танцует себя чернотой на фоне цветной ерунды?
Тротуарная плитка полна приключений для чудаков...
Никто Мандельштама не вырвет из сердца и не поймёт.

Угольники домов заволокло туманом,
Всё, что сказал мне дождь, забылось в тишине,
Утиные слова я помнил тоже мало,
Но аромат дубов ещё хрустит во мне.

Я честен был во всём: с ключом несовершенства
Я удалялся в лес — в ответ он руку жал,
И смерти островок во мне таился с детства,
Застенчиво он рос и думать не мешал.

На старческом гробу, на гребешке младенца
Всегда дышала смерть спокойно и легко.
В замедленной воде всё, что касалось сердца,
Хотя и не смертельно, но ранило его.

За лесопильней пар — во всём струится живость.
Зачем ещё я жив... я этой сыт виной.
Сегодня тихий день — мне многое открылось,
Но вряд ли глубоко и верной стороной.

Приметы твои поменялись все —
Ты несёшь герань на винтажной юбке.
День разлит на улыбки и сок лимонный,
А у нас разговор нетелефонный —
На моей полосе, на твоей полосе
Изумрудной весны расплзлись руки.

Благовонные вести несут вишни —
Жизнь растёт, как косточка, небольшая,
Но и наши новости все — ретро!
Всё, что мы промолчим, не достанется ветру,
Если я в тебе не погиб лишним
И тебя, как могу, собой отражаю.

В ледяном хрустале видит небо декабрь неисхоженный.
Чистый путь младенчески падает хлопьями молока.
Хрестоматия жизни — холсты и штрихи проложены
От купальской воды до рождественского венка.

В белоснежном чаду с букварём генеральски, как раньше бы
Сапогом простучать площадей сахарозную плоть,
В жёлтой утке такси пронестись по гирляндам оранжевым
И орехи ночных фонарей — задумчивостью — колоть.

Но коснёшься ли высшего мыслями пепельно высшими?
Человеческих страхов, потерь необъятная гладь
В этой странной стране нас всегда оставляла нищими,
А теперь нам позволено больше, чем выживать.

Зимний бег от себя по знакомой местности:
Всё здесь до смерти преданно белому мрамору.
Мой покой гнездится в осином поместье
И готовит всем реквием по главному.

Всем нутром уместившись на дне тазика,
Разотрёшь мечты половой тряпкою.
Жизнь длиннее секса и вывески праздника,
Всё, что крохой дала, загребла охапкою.

Лишь дорога насмерть сияла белая,
Тротуары вели в тупики домов.
Голова, голова, голова болела,
И не было в ней мозгов.

Неживой живого вращает поиск —
Дорога выводит на взорванный сайт.
С чем войду я, утробистый, в час алый —
В лысый дом, где гребёнка рёбер
Ничего о душе не знает?
Плентусов тараканий поезд
В дырки глаз вытекает — в обе.

Лишь одна в тишине весть:
Время сильно подорожало,
Но пока ещё есть.



Софья Конищева

г. Заречный
Стихотворения

Докачай себя, добаюкай.
Мало нежности и уюта.
Из открытого настезь люка
Веет холодом и морской
Едкой сыростью. Нестерпимо
Рдеют слёзы на гладких льдинах
Глаз твоих. Где «быть нелюбимой»
Пропечаталось глубоко.
Допрости себя. Доповедуй,
Как иначе сияет небо,
Если в комнате пахнет хлебом,
А на улице — детский смех.
Мне мечтать уже не позволено:
Перезрела и обескровлена.
Моя комната дышит морем.
В твоей комнате стынет грех.

Ноябрь звенит в висках,
И холод как порез.
Не приходи ко мне. Мне сладко без
Тебя. Уже переросла.
И выжата до самых оснований.
Тебе же карнавал-веселье-смех —
Разыгрывай. А я мертва.
Уже который год.
То видимость была,
Что я счастливей всех.
Но всё наоборот.

В тебе, казалось бы, нет проблем.
Во мне — звенящая пустота.
Я маскирую её углём,

Тональным кремом, забавным ртом.
Но всё равно не выходит в тон:
Не эксклюзив и не пошлый штамп.
И я ребёнком ползу к тебе,
И я стучу тебя по руке.
Давай, вытряхивай, что в рюкзаке?
Как стать не рассыпью, а куском?
Но ты молчишь, поднимая бровь,
Но ты надменна и холодна.
И я не то, чтобы про любовь.
Во мне звенящая пустота,
Ты помнишь? Вечер во мне горит
Огнями скошенных автострад.
И нет пути для меня назад.
И сердце взрослое не болит.

Ни слова не пропускай.
Вечер врубит в глаза
Фары дерзкого вида.
Согласись на меня,
Пока я не сгорела дотла.
Не тот привкус и кайф?
Видишь, тонет моя Атлантида.
Но игра на исходе —
Это мой главный талант.
Соберусь и в кулак
Заряжу неистлевшие искры.
Принимай, так, как есть,
Всю отвагу, желанье и спесь.
Я хочу лишь тебя.
Мир, как образ, проносится быстро.
Стань лекарством моим
На пороге оставшихся зим.

Месяц взрезает тёмное небо,
И темнота вваливается мне в зрачки.
Я лежу на остывшей простыне
И не вижу глазами дом.

Я трогаю себя, но не нахожу своих
Бёдер и живота.
Внутри меня пустота разрастается
твоим ребёнком.

И эта пустота никогда не выйдет
Из меня.
Это мне на всю жизнь.
Носи её в себе, качай, убаюкивай,
Находи ей пищу.

Моя matka говорит: «Спасибо и на том,
Я так долго была одна.
А теперь во мне Пустота,
наполненная чёрным».

Душа на стрёме,
Засыпаю с непроходящим страхом.
Если обжечь запястья, останутся шрамы?
Мальчики должны быть сильными...
А девочки почему должны?
Если посмотреть на их гладкие шеи —
Там столько тяжести,
Что мальчикам и не снилось.
Мальчики только для войны нужны.
А ещё для того, чтобы дышать табаком,

Выходя с балкона.
И создавать в доме
Мнимое отсутствие одиночества.
Иллюзию того, что всё идёт так, как надо,
Что ты чиста перед обществом.
У меня дома нет такого существа.
Значит, я неправильна и не годна
Для нормальной жизни,
Где все друг друга любят и умирают одновременно.
Я борюсь со своими страхами и бессилием,
Чтобы лучше выстоять завтрашний день.

Врезана видимость в овал лица.
В улыбку, в мимику.
Кричи «ха-ха!»
И разъедайся изнутри
От едкой боли.
Терпи.
Терапия реальности
Идёт к концу.
Разрываются зеркала
По швам, которых не было до тебя,
Может тебя и не было?
Комната-то пуста!
В комнате не болит.
Стены, как пух, мягки,
Месяцы нескончаемы.
В особи Индивид.
Сломаны две руки.
Музыка в голове —
Это звучит Отчаянье.

Перечёркиваю то, что было,
Трансформируюсь с учётом вытесненного.
Многоочия, недосказанность
В ледяной превращаются круг.
Я не знаю, как мне назвать себя,
Я не знаю, что я умею.
В зеркалах находя равнодушие,
Называть себя не хочу.
Застываю крутым неведением,
Оглушающей пальцы бесчувственностью.
И моя ригидная психика не захочет уже назад.
Я теперь металлический конус —
Ёлка с седой бесколючностью.
Голова моя остроносая
Устремляется прямо в ад.

Загрузка здешней реальности
Дала сбой.
Завершение невозможно.
Нарушение правил
Грозит штрафом —
Временным лишением рассудка.
Каждое сказанное слово матом
Карается двоекратно.
Это вам, милочка, не вата.
Тут не отвертитесь шуткой.
Теперь игра стала серьёзной,
Раньше была демоверсия.
Теперь ни у кого ни на кого нет времени,
Биологический возраст завышен.
Вот тебе силы, чтоб выжить.
Вот тебе место, где жить,
Секс раздают по вторникам

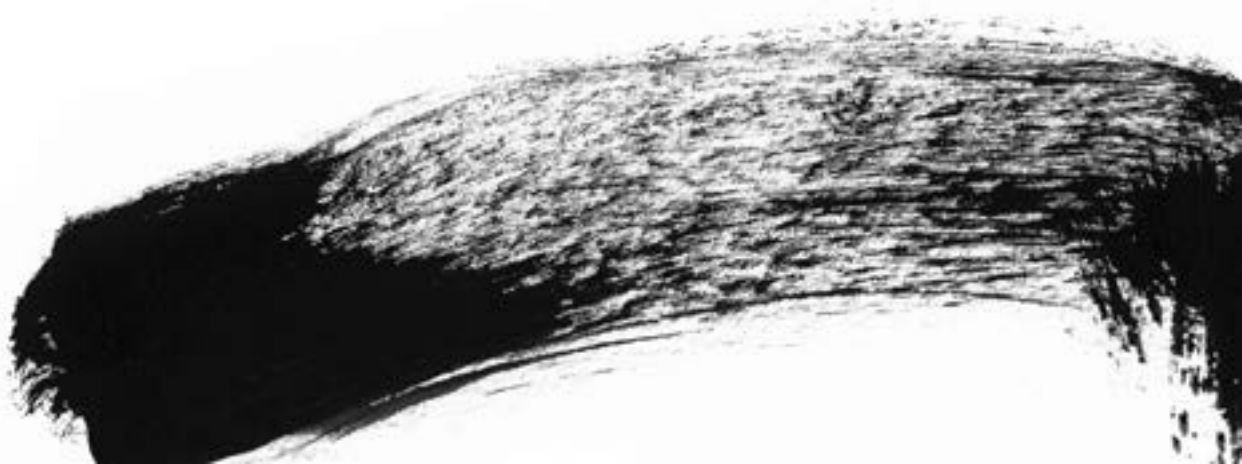
Прямо в соседнем корпусе.
Пищу сама себе выкопай.
Цокают медные грошики,
Радости уничтожены.
Долго ль до перерождения?

Стальная крутая лопата
На месте моей груди.
Скользят невесёлые чувства,
Проваливаясь снежками

В горячую жидкую лаву
На месте моей ноги.
Пока ещё только правой,
Левую я растираю.

Ку-ку, новогодняя ёлочка
С игрушками-погремушками,
Тебя уберут в помоечку,
А я тут стоять останусь

Заманчивым триколором:
Синеют мои кишочки,
Белеет от снега парус,
А снизу я подгораю.





#СТАЛКИНГ



#пенза



— Стань моим мужем!

Показалось? Нет. Чужая женщина в странной шляпке действительно так сказала. Кому? Да мне же и сказала. На остановке, когда жара из-под автобуса дыхла выхлопными газами и пылью. Женщина схватилась за шляпку и, словно упаковочный аппарат, отрыгнула эту фразу. Да и чёрт с ней. Мало ли какие звуки проскальзывают в непрерывно движущихся частях города. Меня насторожило другое. Чёрные брошки, опоясывающие шляпку по всему периметру, устали на меня. Как? Сеть неясных бликов, скользящих по этим чёрным круглым каплям, вдруг в один момент всколыхнулась и сконцентрировалась, вглядываясь в моё впечатление. Я это почувствовал нутром, как чуешь чей-нибудь пристальный взгляд сбоку. Глаза женщины в этот момент показались мне безжизненными стеклянными яблочками, затыкающими ванну, чтобы вода не ушла. Я отпрянул и невольно прислонился к горячему железному заду остановки.

Обжигающее железо подковырнуло потрескавшуюся поверхность моего впечатления. Словно реставраторы, снимающие слой за слоем с бездарной поделки, чтобы высвободить изначальный шедевр, меня подковыривали плодящиеся аномалии. Из тонкой кожаной сумки женщины высунулись тончайшие чёрные струны, вытянутые по направлению к солнцу, — наверное, чтобы не отбрасывать тень, — и тут же исчезли. Я достал из кармана мобильник, но он только отразил лицо — моё лицо, которое я не узнал.

Пот безбожно сползал по векам. Я смахнул его рукой, и глаза защипало. В пелене, смазавшей всю картину, продолжал висеть силуэт женщины. Но чем дольше я приглядывался к нему, тем меньше видел в нём человеческого. Плыла либо форма, ведомая потайным дирижёром, либо моя точка зрения.

Мимо очень знакомо, но в то же время пугающе иначе пробежали пассажиры — те же самые пассажиры, которые проходили тут несколько минут назад, торопясь на тот же самый, но совершенно иной громохочущий металлический транспорт, который я опять чувствовал перед собой. Невесть откуда звучащие копыта отбивали какую-то популярную мелодию. Опять вскрикнула птица, но густым, глубоким и затянувшимся криком. Размытые краски сдвинулись в разные стороны, палитра мира словно пережила перетасовку. Существо передо мной с едва различимыми очертаниями сумки и странной шляпки открыло рот и медленно с лязгом и шелестением выговорило:

— Стань. Моим. Ужином.

У меня закружилась голова, и я пошёл, побежал или пополз в беспорядочную сторону, натываясь руками на всякое такое, что не имеет ни названий, ни образов. В какой-то момент панической воздушной гребли моя рука провалилась куда-то. Выдернул. Открылся свищ. В запредельную щель с фантастической прытью утекала нечёткость картинки, звуки копыт, вытянутые к солнцу чёрные струны. Напоследок на меня взглянула шляпа и тоже всосалась в голову женщины. Её волосы без шляпы распались множеством единиц и засыпали лицо. Женщина вскочила с колен и убежала из моего поля зрения.

Я тоже встал, задыхаясь, взглянул на стеклянный глаз, закатившийся под лавку. И отпрянул, невольно прислонившись к горячему железному заду остановки. Город шумел так, как будто ничего не заметил.

Рыжий и бородатый

Сэндвич из бетонных плит и земли прислонялся своей оранжевой геометрией к длинной вечерней тени. Земля в него вдвухалась годами, так что летом он отпускал травяные бакенбарды. Человек задумчиво поглаживал эти зелёные клочки и педалировал ногой торчащую из земли арматуру. Его лысая голова горела, пародируя закат.

Откуда-то с подветренной и подсолнечной стороны вынырнул человек:

— Приветствую!

Лысый обернулся и прищурился, махнув рукой.

— Я, наверное, ошибся. Извините за беспокойство, — силуэт начал исчезать там же, откуда и возник.

— Эй, эй! Это же я, — закричал лысый и спрыгнул с плиты.

— Да нет, нет. Вы что-то путаете.

— Что вам сказали? Что будет рыжий человек? Это я и есть.

Пришелец приблизился вновь и скептически осмотрел лысую голову. Она светилась оранжевым, как и бетонные плиты, но объективно на ней не было определённо ничего рыжего.

— Да рыжий я, рыжий. На мне должен был быть парик, но его сдуло ветром. Представляете? Шёл по мосту, а тут грузовик едет. Мимо такой — вжух. И парик такой — фшшш. И в реку... И уплыл... А... А почему вы без бороды?

Подсолнечный человек снял очки, вынул из груди платок и начал их тереть.

— Без бороды? Не поверите! С бородой. Ещё утром был с ней, родимой. С ней, моей бородушкой, бородёнкой! Гладил её, как корову. А она на меня молчаливо смотрела козлом. Но мир жесток. Иду я по мосту, а навстречу грузовик пыхтит. Плюнул в меня каким-то маслом, прямо в бороду, в бородушку, как в душу. Что же делать? Проще новую отрастить, чем старую отмыть. Я чемодан свой распаковал, и опасной бритвой — раз, раз, и всё срезал.

Лысый слушал, повиснув на арматуре и разглядывая подсолнечного. Да, вон и свежий порез на подбородке.

— Ну раз уж так вышло, то, может, скажете, ради чего мы тут?

— Конечно, ну не оплакивать же мою бородёнку! Хе-хе. Есть такое дело, сложное дело, которое без вашего... нашего участия не разрешить. Мне бы не хотелось вот так вот прямо, вульгарно и нарочито озвучивать, ведь это неизбежно упростит проблему и сведёт её к непотребству. А это мерзенько. Мир и без того жесток. Возможно, вы...

— Да я бы с радостью всё чётко расставил по местам! Вот только бумаги, все бумаги и смартфон с флешкой улетели вместе с париком. Вжух. Грузовик... Всё улетело...

Лысина и очки сверкали друг против друга, отражая закатные лучи и слова. Тень от бетонных плит росла, обволакивая куст за кустом. Руки лысого и подсолнечного прятались по карманам.

— Ох, как это печально, какая драма... Не сомневаюсь, что есть и устное кое-что. Оно уж точно не должно было улететь в реку...

— Не должно было, но улетело. Вылетело из головы. Вжух —

и тоже в реку. Но что-то осталось. Если вы скажете, что я вам должен... Возможно, я и обнаружу то, что грузовиком не тронулось.

— Не стоит утруждаться.

— Да и не буду, пожалуй.

Запахло выстрелами. Оранжевый глаз на горизонте погас. Очки упали. Лысина исчезла в кустах. Где-то в неопределённом далеке даже вспорхнули, как куропатки, рыжие и бородатые.

Стакан

Визирий разозлился и плюнул в стакан. Как не плюнуть, если на подоконниках посохли все цветы? Это случилось отчасти из-за командировки, которая вдруг троекратно удлинилась. И не в последнюю очередь из-за старенькой соседки Массалии, очевидно, напроць забывшей о просьбе присмотреть за растениями.

Сухие листья облепили горшки своими посмертными объятиями. Некоторые — отвалились в пылевые заносы, надутые из щелей. Грязные стёкла, сами того не желая, приостанавливали рвущийся в комнату унылый вид затяжной засухи.

Сквозь стену ревел соседский телевизор: «...депутаты не смогли проигнорировать просьбы общественных организаций и подготовили пакет соответствующих реформ, необходимых для стабильности, рывка и укрепления семьи...»

Кресло привычно поймало рухнувшего в него Визирия, который собирался тут же в любой позе и уснуть. Но нет. Дребезжащий шум поднял его и понёс на кухню. Железный стакан, ставший пристанищем для биоматериала раздражения, дрожал и подпрыгивал. Через два прыжка Визирий заглянул ему за край. Стакан успокоился. Внутри вдоль стенок медленно двигалось тёмное, ключьями. Похожее на чёрную вату.

Визирий протёр глаза и видение смылось.

Сон больше не приходил. Принять душ и шататься по душным улицам в надежде встретить какого-нибудь знакомого показалось хорошей идеей. Он так и сделал. И даже встретил бывшего сокурсника — Псалия Ионисьевича. Псалий с трудом волочил за собой мешки под красными и немного выкатившимися глазами, но с энтузиазмом начал рассказывать про радостные неважные события, потом про

нейтральные события средней важности, а потом про важные печальные и очень важные очень печальные события. И чем дольше он рассказывал, утирая пот со лба рукавом, тем важнее и печальнее становилось. Визирий закурил и внимательно рисовал рёбрами подошвы ёлочку, сквозь пелену слушая мрачный монолог Псалия.

— Слушай, — вскрикнул Визирий, хлопая себя по лбу и выплёвывая сигарету, — Я что спросить-то хочу?! Ты когда-нибудь видел странное?

— Да, постоянно вижу. Вот ты сейчас, например, очень странный.

— Потому что мне сегодня померещилась тьма в стакане.

Сокурщик выпучил глаза и приоткрыл рот, выдавив:

— А я решил, что это был сон...

Псалий Ионисьевич убежал. Визирий тоже, но в другую сторону. Сухой пыльный воздух чиркал ему по лицу. Улицы в коричневой дымке складывались заторможенными доминошками. Со стороны проспекта шёл шум. Визирий пригляделся — колонна бронетехники военных или жандармов — не разобрать точно. Дело шло к вечеру, но воздух сжимался, группировался и перекачивался, как при падении, чтобы обеспечить стабильность сверхъестественной жары. Дышать ею было трудно и лениво. Окна почему-то хлопали, из них высовывались разные люди — голые и одетые, старики и дети, злые женщины и мужчины. Где-то закричали острыми лозунгами.

В квартире уже стоял лёгкий полумрак с примесью соседского телевизора: «...Внимание! Внимание! В рамках принятия необходимых нашему народу законов, во избежание раскачивания ситуации внешними врагами и внутренними предателями вводится комендантский час. Просим отнестись с пониманием!»

Темнело, но не дышалось, всё равно не дышалось. У Визиря закружилась голова и заложило уши. Не включая свет, он прополз на кухню, к окну и открыл его. В тёмных окнах дома напротив вспыхивали синие огоньки. Но и окружающий его проём сиял изнутри. Он обернулся. стакан орал вверх бледно-синим столбом, иногда разгораясь от ярких разрядов. Стол скакал, осёдланный новым наездником. Гремели и катались по столу чайники, сахарница и грязная посуда.

Визирий машинально схватил стакан и выплеснул его в окно, наблюдая, как тысячи рваных чёрных хвостов, сверкающих синими искрами, собира-

ются над городом в бешено вращающийся хоровод. Голографический терновый венчик ширился, пуская ледяные метастазы игл в землю и небо.

Мимо испуганных вороньих стай пролетала пыль, бронетехника и жара.

Коленка

Иванова кусали комары. Они налезли в проклёванные птицами дыры в москитной сетке и теперь всю ночь мешали спать. Иванов включил свет и закурил, разглядывая свои волосатые ноги. На правую коленку сел жирный комар. Иванов шлёпнул по нему. Комар продолжал сидеть. Шлёпнул ещё несколько раз. Жёсткий, как гвоздь, комар куда-то исчез, пока Иванов переключал взгляд на оцарапанную ладонь. «Да уж», — подумал он, докуривая сигарету.

Утром Иванов пошёл в магазин и купил три килограмма яблок.

— Что, внуки приехали? — подмигнула продавщица.

— Да не. Сам захотел.

Дома Иванов съел яблоки и пошёл на вызов ремонтировать стиральную машину. Клиент жил в каком-то диком овраге, на улице, которую не было видно ни с какого места. Спускаясь вниз, Иванов почувствовал боль в колене. А возвращаясь наверх — ещё и какое-то внутреннее трение. «Возраст», — подумал он, а чуть позже купил ещё пять килограмм яблок.

Теперь по ночам пульсирующая боль в правом колене стала мучить Иванова сильнее комаров. «Хм, — думал он, — не от того ли?». И вспоминал твёрдого комара. «Вид такой. Глобальное потепление. Мигрируют». Но боль всё росла, а коленка стала потрескивать и даже как будто тикать.

Отсидев положенные очереди, получив направление на рентген и добравшись до него, Иванов столкнулся с предсказуемой, но непреодолимой силой:

— Что вы хотите, мужчина? У нас всё расписано. Можем на октябрь записать. Но лучше идите в платную.

В платную, конечно, Иванов не пошёл, а пошёл в аптеку за «Звездочкой». Юная аптекарша с кем-то переписывалась в тени длинных белых шкафов. Криво закреплённый под потолком старый телевизор показывал рекламу пробиотиков. У зеркальной витрины, забитой разноцветными пачками и пузырьками, Иванов вдруг подумал, что неплохо бы иметь про запас шприц. «...и микробиота, как из-

вестно, влияет на темперамент, настроение и даже на склонность к самоубийству...», — седой профессор с влажными глазами из телевизора тыкал пальцем в пластмассовую модель кишечника. Аптекарьша оторвалась от смартфона и, морщась, переключила канал. «... гриб-паразит превращает муравьёв в зомби...»

«Бред какой», — подумал Иванов и купил большой шприц.

Закончив последний пакет яблок, Иванов поджёг сигарету, затянулся. В окно бил ровный розовый закат. Река послушно отражала потусторонние деревья, вытягивая их в костлявые конские морды. Иванов налил стакан воды, но пить не хотелось. Он понюхал воду, макнул в неё язык. Коленка ныла. «Может, в неё?»

Иванов распаковал шприц, набрал воды из стакана и ввёл под коленную чашечку. Коленка забулькала, немного дёрнулась, но боль прошла. С этого вечера Иванов стал регулярно поить коленку.

«Интуиция не подвела», — думал он, целясь иглой в некий подкожный паз.

«Или подвела», — вскользь и смутно ему вспоминался глупый телевизор из аптеки.

Поить коленку стало для Иванова необходимым ритуалом. А через пару недель вечером его вдруг охватило непреодолимое желание лицезреть пространство в самых раскрепощённых масштабах. Иванов выкинул шприц с водой и побежал на единственный городской холм. Это был лысый пыльный пустырь, одна сторона которого отвисла двумя рядами гаражей. «Красота!», — с запыхавшимся восторгом оглядывался он на протянувшийся до горизонта вечерний город.

Вдруг коленка рванулась вверх, и через несколько минут обгоревшие остатки ноги Иванова летели в открытом космосе, увлекаемые ревушим механизмом коленки в ледяную бездну. Эвакуация прошла успешно.

И только выпавший из кустов алкоголик махал руками на дымящийся ботинок, потому что увидел чёрта.

Кража

Почти пустой автобус качается от ямок. Виталий оглядывается: назад убегает дорога, теряясь в чаду промзоны, справа (или слева, если смотреть по ходу движения) у окна сидит беззубая старушка с ведром из-под майонеза, недалеко от неё — два школьника тыкают пальцами в телефоны, мужик в коричневом пальто спит и бьётся головой о стекло. У этого

мужика на руках — рюкзак. Большой, плотно набитый чем-то жёстким рюкзак — это хорошо. В нём может быть ноут или кошелёк. Спит мужик крепко. Возможно, пьяный или с ночной смены. На лбу испарина, как от кошмара. Оскалился во сне — зубы белые, как первый снег. Тощие зеленоватые руки почти не держат рюкзак — идеально.

Старушка смотрит в окно, школьники — в телефоны. Вот автобус тормозит и открывает двери. Виталий затыгивает капюшон, вскакивает, хватая приглянувшийся рюкзак и выбегает из автобуса.

В ближайшем перелеске, где не ходят ни люди, ни ветер, Виталий садится на упавшую берёзу и осматривает свою добычу. Чёрный рюкзак с несколькими круглыми значками полон и пахнет грибами.

Виталий тянет за молнию — не открывается, заело. Спустя несколько минут безуспешных попыток он раскладывает нож и начинает распиливать рюкзак. Дело идёт. Он снимает шкуру рюкзака с неизвестным содержимым, глядит, а там — ещё рюкзак. Пытается расстегнуть молнию и вновь она не расстёгивается. Он взрезает и этот рюкзак, а внутри ещё один. Режет, достаёт, пытается расстегнуть, режет, достаёт, пытается расстегнуть, режет, достаёт... Вокруг берёзового ствола уже лежит целый ворох выпотрошенных рюкзаков.

Виталий с недоумением смотрит на то, что осталось у него в руках, — целый и по-прежнему полный рюкзак с четырьмя круглыми значками, от которого несёт чем-то влажным и грибным.

«Чертовщина какая-то», — думает Виталий и уже собирается уйти, оставив рюкзаки местным кошкам, но слышит:

— Не советуем.

Деревья дёргаются от порыва ветра и сдвигают плечи. Ворона выкаркивает вопросительно. Виталий смотрит на рюкзак, из которого вылетел шелест, так похожий на слова.

— Хочешь узнать, что такое резьба по говорящему дереву?

Виталий бросает рюкзак на землю и бежит — чёрно-белое месиво берёз мелькает и сливается в непрерывный зеркальный лабиринт, в котором нет ни выходов, ни направлений. За очередным деревом — поваленная берёза, а рядом с ним — содранная кожа рюкзака и сам невредимый рюкзак:

— Садись, поговори с нами, Виталик.

Он смотрит вниз несчастно и ошалело:

— О чём?

— О белой лошадке.

Белая лошадка из далёкого солнечного детства улыбается деревянно. Кто её сломал? Кто сломал любимую лошадку? Уже не улыбается. Вот уже и нет её — разобрали, спрятали, а потом и выкинули.

— Если подумать, — говорит рюкзак вкрадчивым шелестом, — ничего особенного в ней не было — одна из десятков тысяч массово сколоченных игрушек. Тебе она нравилась только потому, что не было других.

Лошадка превращается в набор элементов, скреплённых не очень богатой фантазией. Они легко отделяются друг от друга и тонут.

— А Мячик?

Мячик тычет мокрым носом в ладонь — живой и весёлый, и совсем не похожий на то, что осталось под грузовиком.

— Это просто животное, — шелестит рюкзак, — запрограммированное на неизбежную смерть. Чуть раньше, чуть позже — какая разница? Грустно — потому, что привычка, просто привычка. С сестрой — то же самое. Ничего, кроме привычки.

Мячик вместе с громко плачущей Таней безвозвратно тонет в чёрной речке. Виталий сглатывает ком в горле — становится легко, он парит над поляной, парит над собой.

— Ты боишься не сделать того, что положено с точки зрения других, и поэтому делаешь зло, чтобы скрыть этот страх. Но ничего страшного и ничего уникального, — рюкзак повышает голос, начинает сильнее пахнуть грибами. — Твои коллекции тараканчиков и значков с украденных рюкзаков — не странность, а железная закономерность и необходимость. Что в тебе своего? Всё, что есть, — слепое отражение. Всё, что тебе нравится, — не имеет самоценной сути, постоянно перекраивает смысл, свёртывается и проходит. Всё, что ты любишь, — мимолётные вспышки иллюзий в молочной бездне.

Густые чёрные пятна нефтяной воронки обволакивают белизну берёз. Виталий по колени, по пояс, по шею в невидимом движении. Рюкзак низким гребённым хором кричит ему:

— Мы тебя принимаем таким, каким тебя нет, тебя нет, тебя нет. Тебя нет!

От него остаётся лежать моргающая и вспотевшая шкура человека. Всё остальное украдено.

Анна Коржавина

г. Москва

Стихотворения

По разные стороны год встречать,
Не знать, что ты пил и что ел.
Не я тебе буду стол накрывать,
Не я застелю постель.

Пускай же скорей черноту и тишь
Разрежет бритва зари.
А ты меня всё равно простишь
За нежность, плачущую внутри.

Осыпается жёлтый папоротник,
Сосны старые в воду падают,
И хвою золотят лучи.

По песку утиная стая,
Все когда-нибудь вырастают.
Что-то кончилось. Помолчим.

О чём же ты думаешь, ласточка,
Когда пролетаешь над городом,
По самые крыши засыпанным
Серебряной музыкой снов?
Глянь – небо к земле пригибается,
Метель ведьмин шабаш затеяла,
Во тьму погружаются люди,
И только луна не спит.

Мир утратил и стиль, и качество,
Ходишь, будто мешком прихлопнута,
С крышей, вставшею на ребре.
Под кроватью всё время прячешься,
Ощущая себя ничтожеством,
Лишь бы день пролетел скорей!

Снова прибыльный день, снова ночь будет ад,
Снова лето в офисе и без солнца.
Остаётся воля и жёсткий взгляд,
А доверия не остаётся...

А потом будет встреча. Брюнетка с арфой.
Пара взглядов — и всё. Осколки не соберёшь
От себя вчерашнего. Как же жарко!
Ты давно не наивный мальчик. Откуда же эта дрожь?

А на корнях белёсый мох,
И всё так зыбко,
И ты как будто бы оглох
И тонешь в дымке.
И чем же этот город плох
В закатном блеске?
Иди-ка доедай свой плов
И слушай песню.

Между курсами и работой,
Между акциями и сводками
В старом доме из полумрака
Светит платье цвета граната.

А рука такая тонкая,
Что дотронуться было б страшно...
Где-то рядом с родными высотками
Пахнет ландышем.

Кто она? Ничего не выяснить.
Двести лет песок уже сыпется,
А мобильник хочется выбросить.
Остановишься — мигом вытесняет...

Он откроет банк в самом центре города,
За два дня до того, как стукнет тридцать.
В пятьдесят он встретит ту даму из молодости.
Но не на картине её увидит.

Соси эти чёрные ягоды,
Сноси эти чёртовы тяготы
И падай в бездну безвестности
Под звуки детской песенки.

Одна из игрушек тебя задушит.
Когда молоко станет ядом.
Ешь, пока можешь кушать.
Птенец всегда рядом.

Не спи, моё отражение,
Горящий пух тополиный,
От мыслей найдёшь спасение
В стихах или в картинах.

Укрой себя одеялом,
Довольствуйся самым малым,
Что выделено судьбою,
Что выращено тобою.

Серая ткань города
Пахнет безумием —
Здравствуй, белая Вологда!
Брошу московский улей
И по камням, по льдинам
Пущу корни.
На днях родишь мне
Не дочь, не сына,
А целый сборник.

Ксения Мосина

г. Санкт-Петербург
Стихотворения

Каждый день к моему окну прилетает облако,
я ему говорю: «Не летай, не летай так низко
и не ходи около окон
и глаз зачарованных жителей края города», —
но ему всё равно.
Странствующая природа его качает и мает,
оттого ли оно такое плотное, кучевое и плавное в ходе?
Я за ним наблюдаю, пока не устанут глаза,
но тенденция такова,
что с годами я вижу всё хуже и хуже,
и даже боюсь, что однажды проснусь
и его не узнаю.

Та, что укрыта брезентом до первого паводка на реке,
Расправила жабры вёсел и тихо скользит
к огонькам вдалеке.
Рыбацкая удаль способна на чудо —
старика-дурака развлечь:
Это кажется, спит, а сам, в полудрёме,
вовсю расставляет сеть,
Точит крючки и запутанной лески ищет заветный хвост.
Дедушка пожил и знает прекрасно, что рыбий закон прост:
Воля и прыть занимают будни тихих его протехе.
Дедушка тоже хотел бы воли, только он стар уже.

На Леснозаводской улице флоксы и мальвы, мальвы и флоксы
Подъезд охраняют серый, рядочком стоят отрешённым,
рослым.
Пятиэтажный монстр родился сразу больным и взрослым,
И сбрасывал штукатурку, пока напротив пылились сосны.
Облако белой герани из комнаты тянется на восток,
В стенах глухих живёт настоящий время творящий ток.
Марево дня заполняет уверенно каждый родной квартал,
Приговорённый город в историю имя своё вписал.

Сиротливо моталась верёвочка возле кудрей,
По подшёрстку погладил и на руки пролил елей,
Жил ягнёночек белый под сеном у самых дверей
Со звездой под копытцем.
Никому не с руки подниматься чуть солнца свет,
Да и смысла держать животину сегодня нет.
Всем толковым зима дарит кофе и интернет,
Мне — январские спицы.
Ночью белого зверя не видно не белом снегу,
Лодка сна для него на кроватном крутом берегу.
Крем-брюле ледяное над лункой развёрнуто в глубину
Неоткрытой страницы.

За вершиной вершина, за будущностью весна,
Забери меня, кошка, усами укрой волоса.
Если устье реки упадёт на молочную даль,
Выдай девочкам пряжи на кистепёрую шаль.
Я любовница света и дружбу со мной не води —
Что за радость тебе целый день проводить взаперти?
Пыль, карниз, сонный луч, крышка белого молока,
Никого не ждала. Жизнь прекрасна и коротка.

Высоту ночи царапает звёздный хвост,
Падая хворостом в угли рассветной тьмы.
Залпами зарево катится в глубь зимы,
Кровью рябины расчерчен седой мороз.
Я представляю себя на бескрайних льдах,
Фьордах, оточенных резчиком-сквозняком,
Радость моя бьётся трепетным мотыльком,
Имя твоё на сердце и на губах,
Нежность — семантика пары его слогов,
Не торопись исчезнуть из неги сна.
Безостановочно звонница-голова
Колокол мерный тянет твоих шагов.

Больше не жду ни писем, ни новостей,
Азимут выбран строго на Колизей.
Там на одной из сотен его ступеней
будет ждать меня рыцарь.
Губы мои задрожат колдовской свечой,
Голову я оберну золотой парчой,
Встану горою за твёрдым его плечом –
Белогрудая птица.
Время хранится в архивах и городах,
Вымерли рыцари в деле и на словах,
Скурим папирус в память о наших богах
В сквотах третьего Рима.

Паровозным гудком закачается воздух январский, неспелый,
Отзвенит оголтелая площадь и пустит концы в воду.
Только то не вода в огранённом стекле инженера,
Освящённом Маткадом, одобренном Ростехнадзором.
Повинуясь морозу, как первому акту премьеры,
Он не выйдет с детьми на санках или вожжах.
Ночью у изголовья читает «Дитя инженера»,
Там таблицы и схемы и прочее о малышах.

Я не пойду гулять в парк или нежный сад,
Не стану кататься и брать самокат в прокат,
Не буду на солнце блестеть, как старик-вампир,
Я лучше примусь за личный домашний пир.
Скользить будет масло по хлебным крутым холмам,
И чайные волны спешить по своим делам.
И всё будет мирно, ни облачка над головой,
Погуляй без меня, а я сохраню покой.

Дарья Швецова

г. Кузнецк-12

Стихотворения

Д е б ю т

адресованный больше взгляду,
чем стране, городам, домам,
день за днём, год и месяц кряду
ждёт конверт, что его отдам.

ждёт письмо, как углом сойдётся
с обнажившей его рукой.

только б тексту увидеть солнце.
только б текст у него — другой.

...

под заплатками туч и сини —
будто кто-то перекроил —
хрусталём на краю России
льётся тихой Невы графин.

эта сказка из зданий-замков,
сказка-север, гроза, порыв —
как блесна — старт смертельных салок
для блестящих жестяных рыб.
для пираний, что в злом потоке
будут кожу мне надрезать.
и нечётким застынет тот, кем
и является адресат.
в чешуе отражённым камнем

померещится — глянь — нет дна.
разве ж гибелью та река мне?
разве ж я утону одна?

но корабликом-оригами
вот письмо и его устав —

оберёгами берега мне:
горы-море да три моста.

...

знайте: кровью затопит солнце,
если тот адресат — не вы.

под заплатками сини льётся
ярко-алый графин Невы.

просто кто-то придумал так.

не течёт из реки вода.
и не творог читай — творог.
не вышагивай за порог.

помни: радость — всегда порок.

выбывай из игры вначале,
не успеют отнять медаль.
согласись погадать на чае,
откажись «помоги, подай».

просто выпало: шесть и шесть.

червякам суждено кишеть,
всем жукам суждено жужжать,
прогрызая головы ушат.

решетить, уменьшать — сужать.

алгоритмы структурно те же,
кто-то списывал с образца:
серый — чаще, зелёный — реже;
угол неба острее резца.

просто карта легла — король.
не убий, укради, сокрой,

да не дрогни Твоя рука
с воспалённого потолка.

опять ни звука, хоть рви, хоть вой.
спугнули, вмяли в асфальт ходьбой.
пиши-пропало. подошв подстил
фальшиво скрипнул «прости».
простил.
прогнулась лавка под весом сна.
противно хвоей скрипит сосна.
скребу в тетради: «и липы шум...»
зевнула ручка: «пиши».
пишу.
упрямо мерю шагами дом.
печенье. яблоки. валидол.
зрачками режутся донья блюд.
зализгал ножик: «не спи».
не сплю.
завешен шторой рассвет. темно.
вся ночь — рутинным веретеном,
в котором стержень — окна прогал.
сместилась рама. «живи».
ага.

Стих-перевёртыш

нервами голыми стянуты челюсти
намертво. вечером, загнанный,
прерванный пьяными шутками, шелестом
мятого белого савана,
выкрикну: «слышите!», выскулю: «мамочка!»
сызнова связками мнимыми.
выигранный временем, выигравший мальчиком
жизненный финишный минимум.
а́дище. где-нибудь прячется тетерев,
часики тикают двадцать мин.
кладбищу слышится — гладкое дерево
ящика взрезали пальцами.

(перевёртыш)

пальцами взрезали ящика дерево
гладкое — слышится кладбищу.
двадцать-мин. тикают часики. тетерев
прячется где-нибудь. а́дище.
минимум финишный жизненный мальчиком
выигравший, временем выигранный,
мнимыми связками сызнова «мамочка!»
выскулю, «слышите!» выкрикну,
савана белого мятого шелестом,
шутками пьяными прерванный,
загнанный, вечером. намертво челюсти
стянуты голыми нервами.

самый странный рисунок в саде —
ни безглазый мальчишка сзади,
ни чудовище на тетради,
ни зубастые злые рты.

...
воспитателей так тревожит
видеть грифельный чёрный ножик.

...
Макс кота начертил без ножек —
и пропал. говорят, — простыл.

...
а однажды весной, в марте,
появилась соседка Катя,
все мелки на неё потратил.
рисовала всегда наш сад.
да красиво так! будто фото,
а за нами — огромный кто-то.
раз в окно завизжала — вот он! —
увезли. говорят, — назад.

...
лучший друг мой — кудрявый Колька
рисовать не любил нисколько.
я его и просил, и торкал —
говорил мне, что я дурак.
а зимой, в феврале, он красным
до краёв все листки закрасил,
что-то долго кричал про мясо.
месяц нет.
говорят, — в горах.

...
в тот четверг я остался дома.
позвонила подружка Тома,
я пришёл, а весь сад обмотан
в красно-белым, вокруг врачи.
у машины лежат носилки.
Тому тащат два дядьки в синем
из дверей, слышно «всех спасли ли?»,
а она ничего. молчит.

...
я сегодня пришёл пораньше.
Томы нет, говорят, — на даче.

но я больше не верю старшим.
ни родителям, ни другим.

...

самый странный рисунок в саде —
на стене за моей кроватью.
между стёртых кровавых пятен —
отпечаток её руки.

ты, конечно, совсем не помнишь,
как светился в лучах Воронеж.
задевая дома локтями,
сбив рассвет на пяти мостах,

по сплошной шёл походкой твёрдой.
каждый шаг был пустым аккордом,
он их складывал по частям и
убаюкивал на листах.

ровно жизнь, собирал он ноты,
спотыкаясь на поворотах,
пропускал, приходил обратно,
с чьих-то окон сдирал диез.

первый лист, третий, пятый...
первый
не выходит никак с припевом,
вот бы было там «до-ля-фа»... но
он за «фа» тогда не полез.

на десятом листе дорога
разделилась на много-много
одинаковых ответвлений,
белых, чёрных, двойных октав.

он шагнул на октаву ниже.
пламя жаркое пятки лижет
и сгорает с листьями время,
как в артериях жгучих лав.

больше он не писал ни такта.
первый, третий, второй и пятый —
всё, положенное в ящик,
было выброшено за борт.

...

сколько дней пробежало мимо,
сколько клочья летели в милях.

ты сегодня в лесной звенящей
тишине вдруг узнал аккорд.

и когда ты услышишь проигрыш,
мой далёкий живой Воронеж,
то поймёшь, что знакомый ритм
слышишь в ком-то совсем ином.

ты поймёшь, что все эти годы
ты писал для того лишь, чтобы
кто-то в звук превратил чернила
и сыграл тебе
на фоно.

это не хлеще пройденных барокамер,
это не хуже Таниного мяча,
просто кто-то меня подловил и запер,
и отучил по ночам в потолок кричать,
дав мне с собой только список воспоминаний
и пожелав удачи через плечо.
я по ночам захожу по колени в пламя,
не понимая, отчего так дьявольски горячо.

МОМЕНТ МЕСТА

Представляем вам проект «Момент места» фотографа, известного под псевдонимом Somebody Bo (г. Пенза).

Проекту более 20 лет, фотографии из разных моментов и эпох копяты и копяты, самоорганизуются как-то в виде спонтанных публикаций.

Кадры эти вряд ли можно соотнести с серьёзным искусством репортажной, уличной или тем более художественной фотографии. Аспект фотодела играет здесь роль заднего плана, хотя и он немаловажен — используются чёрно-белая плёнка 30–40 летней давности, ручная проявка, старые камеры и мануальная оптика. Суть в другом и связана она с темой городского сталкинга.

В последнее, предапокалиптическое, время слово «сталкинг» сильно перегружено разными второстепенными смыслами. От того оно малопонятно и даже несколько маргинально. Я же вижу в нём указание на вполне конкретную и каждодневную практику нахождения в определённом моменте места. Место — это необязательно город. Таким же образом можно находиться в лесу, горах или даже в стенах своей квартиры.

Но в контексте наших реалий город — очень интересная стихия. Во-первых, для современного городского человека город всегда ближе, доступнее и понятнее. Во-вторых, при определённом замедлении внутреннего масштаба времени и при погружении на определённую глубину детализации все города сливаются в один единственный Город — одно сплошное, бесшовное место с очень интересными свойствами и законами. На этой глубине нет практически никаких различий между Москвой, Тамбовом, Пензой, Пекином или Барселоной. Вся эта внешняя самость городских видов и событий шелестит где-то очень высоко у поверхности. Но то, что происходит (а точнее, не происходит) в глубинных локациях, позволяет говорить о Городе как о самодостаточной, неделимой и нелокальной стихии. Нет смысла ехать куда-то за тысячи километров, если любое место всегда здесь.

Фотографии (особенно в комбинации с полевыми записями звуковых ландшафтов) позволяют очень наглядно проявить глубинную подлинность места, выстроить всю эту странную топологию и плавающе-живую картографию Города — свободно от законов логики, геометрии и градостроительства. Наблюдатель буквально проваливается в это огромное, волшебное, символическое безмыслие, где: то ли наяву — то ли во сне; то ли там — то ли здесь; то ли ты — то ли не ты...

Примерно та же техника практиковалась средневековыми китайскими художниками, которые создавали причудливые пейзажи несуществующих гор и рек вовсе не ради реалистичного воплощения своих замыслов, а для самых настоящих духовных странствий внутри свитка.

#35мм #погружения #город #чбфото
#сталкинг #пенза
#обесцеленность #ничейность
#лунопись #плёнки
#безлюдное #монокль





















Марина Герасимова

г. Пенза

Стихотворения

— Молодой человек в чёрной куртке,
я отходила за кофе.
Я отходила. Я занимала за Вами
Очередь в районную поликлинику.
Клинит меня и клинит:
то в сон клонит, то лапы ломит, то хвост отваливается...

— Женщина, в Вашем возрасте смешно жаловаться —
Вы пришли на своих двух,
с рюкзаком за плечами, в котором пух
грехов с кирпичами.
Смотрите, за Вами
Мама с горошками-дочерями,
Дальше — квадратная тётя-хамло.
Встаньте в конец очереди —
Ваше время ещё не пришло.

Жене Шувалову

*Не выдержав несовершенства себя
И мира,
Закрыл я очи.
Прости мне, мама.
Я не работа, я не машина, я не квартира,
Авва, Отче!*

Женя Шу

Искарябал стихами душу —
и в полёт, пустотой окутанный.
Я признать твой уход трушу,
я надеюсь, что что-нибудь путаю.

Но факты гранитны. Тело — трещина...
Смерти нет, эти все — лгут.
Опоздание — СМС той женщины,
чьё слово на рану — жгут,

или друга, с которым плечом к плечу
обжигались страстями и небытием этиловым...

Стая бескрылых везде понтится, мол, улечу.
А ты меня кинул помнить, ждать
и ещё цитировать.

Выйду из капсулы — и дрейфую в холодном хаосе —
в липком тумане осени легче под градусом
сердце услышать на дне колодца —
солнце!

Брошусь за солнцем вниз,
но вместо пристани —
рислинг
и взгляд твой пристальный —
ледяной кристалл со стальными искрами —
и ныне, и присно...

Божья коровка

— Спелой медью гудят наливные твои бока.
Тётя божья коровка, небесного дай молока.
Я ещё молодой, я совсем несмышлёныш пока,
оттого не боюсь ни козы-дерезы, ни быка.

— Я билет получу и наверх полечу по лучу.
В небе млечный ручей, я бидончик с собой захвачу.
Слаще мёда посылку мою заберёт твоя мать,
Чтоб ты мог пировать.

Ночь — большая сова — тебя мягко обнимет крылом.
Сонной песни слова — словно дым из трубы над селом.
В этом мире сбегających каш и стекающих крыш
Спи, малыш.

Папе

Вот бы тебе позвонить туда, спросить: «Как дела?

И ещё, как чинят порванные провода?»

У нас тут погодка дерьмо — дожди, холода,

а в общем-то, всё хорошо, всё как всегда.

А у тебя как погода? Как виды? Как чёрный джаз?

Чувствуешь нас без вай-фая, молишься там за нас?

Скинь мне для веры по вайберу фоточки: рай и ад.

Здесь без тебя холодина, папа. Мир без тебя щербат.

Дяде Александру Пушанину

Опустевший замок — без сказок и без принцесс,

элеватор смотрит слепыми глазницами в дождь.

Где-то там, за полями, лесами, морями — прогресс,

где-то здесь пожинали рожь, пожирали ложь.

Где-то здесь поженили водку и пустоту.

Ржавый трактор и голубятня — без старика.

Птицы белокрылые — в облака.

Газировка детства горчит во рту.

Слова

Вот разложим слова БУЗИНА, СЕДИНА, КРАСНОТАП
на поверхности серой стола.

Так затёрты поэтами разными эти слова,

Я бы в текстах своих не хотела их видеть совсем.

БУЗИНА — как противно раздувшийся мутный волдырь,
в нём то зависть, то ярость и гнев, то отравы и гной.

Ядовитая ягодка ноет, бузит в голове.

Не хочу я вкушать и тебе не даю этот плод.

СЕДИНА — безысходность, не выправить краской волос
ни морщин, ни болезней, ни запаха прелой листвы,
ни боязни безумия, ни дефицита любви.

Я не крашу волос и мне нечего больше скрывать.

КРАСНОТАЛ растопырил из снега замёрзшие пальцы —
на обочинах жизни — воздетые к небу ладони,
а на кончиках пальцев — пушистые робкие вербы —
завербуют тебя в БУЗИНУ, СЕДИНУ, КРАСНОТАЛ.

Хвоя

Поймать тишину. Вдохнуть колдовскую хвою.
Шузы искупать во мху и сухих иголках.
Возможно, где-то счастье бывает иное —
В уюте квартиры, в плете и книжных полках.

Всё это зимой. Не могу полюбить зиму.
Хорошего в ней — Рождество и всё та же хвоя.
Тянись, моё лето, жаркое невыносимо,
сосновая песня
и нас, заплутавших, двое.

Всё сказано.
Писать не о чем.
Нет смысла чувства беречь.
Мы пропасти дымом лечим,
Стряхиваем горы с плеч.
Твой город — он и не твой совсем,
Грохочущий робо-кит.
Плыви с ним, не оглядывайся,
не бойся —
Ничего не болит.
Мой район заметает пеплом,
Зарастает железным мхом.
Я поправилась, я окрепла.
Белый путь выстилаю стихом.
Только стихи бессмысленные
И бессвязные.
Я буду с тобой — мысленно.
Всё давно сказано.

Вот и приплыли —
нам создают поддерживающие чат-боты,
просто, чтоб было
с кем поболтать, приходя с работы,
чтобы нам каждый вечер писали:
«Привет! Как дела? Держись!»
И чтобы мы наивно держались
за свою никчёмную жизнь.

Я купила булку, поставила турку, пишу в телефоне,
как хочу видеть море, хотя бы Балтийское, ледяное.
А вместо этого — за окном экскаваторы месят грязь —
хоть целый месяц сиди, никуда не вылазь.

И я пишу ему то, что никому живому,
дорогому, красивому, умному — не напишешь.
Прикрываюсь зачётными фотками в инстаграме,
улыбаюсь маме.
Лажа всё, робот, слышишь?
Ну, конечно, тебе плевать на стихи, на росы,
на зарплату, людскую грубость и макросъёмку!

Задавай, задавай утончающие опросы!
В детстве я не ленилась вести дневник
и записываться на плёнку.



Рассвет

Опять рассвет,
Ещё один рассвет.
В который раз я просыпаюсь зря.
На тротуаре распластался свет
Сырого листовенного фонаря.

Прохожий
Одинок и редок здесь...
Луна, не лей на нас впустую брань —
На электрическом столбе повесь
Свою пятнистую гортань.

Я не устал —
Во мне так много сил,
Что впору мир в бараний рог свернуть,
Но, проходя порой среди могил,
Мне хочется землёй свою посыпать грудь.

Бежит по телефонным проводам
Заплывший сонным бредом шёпот слов.
Бросаясь с визгом радости к ногам,
Как псина, я всегда встречать готов

Рассвет,
Ещё один из многих тыщ!
Хмельное солнце, выпив ночь с вином,
За тучами, как гнойный жёлтый прыщ,
Болит и нарываяет янтарём!

Тупой холод
покрытых льдом мозгов планеты
довёл сердце моё
до точки равнодушия.

Евгений Шувалов

г. Кузнецк
Стихотворения

Я перестал чтить традиции и верить в приметы,

никому ничего не доказывая,
никого не слушая...

... Всё дозволено...
Тебе, полублялюбимая...

Коллапс

Я предстал перед тобой, в чём был:
В туберкулёзном ожерелье на груди,
В словах, накрученных на бигуди,
Иного нет — я ничего не скрыл.

Осень сшила мне кафтан турецкий,
На нём украшенный богато пеплом ворот.
Я щеголял в нём, радуясь по-детски,
Тому, что мир мой был по шву распорот.

Зимний перебор гитарных струн
Сливался с дымом, кашлем, смехом, плеском вин.
В чаду веселья я был не один:
Христос плясал с Аидом, пел Перун.

Пояс затянув весной потуже,
Приняв на грудь бойцовский дух, восторг и солод,
Я сыпался ко всем, кому был нужен,
Чтоб разделить любовь, тоску и голод.

Лето не написано — и я
Застыл во времени, прижав к груди
Слова, навитые на бигуди,
И бусы Коха.

Куколка

Сомневайся, таись и скрывайся,
положенья вещей или Бог тебя спрячут.
Погляди, за стеклянным окошком девайса
каждый верит во что-то своё — наудачу.

Сомневайся... быть может, и воздух отравлен,
и желтуха сразила осеннюю рощу,
всё равно — мимо запертых ставен,
в капюшоне таясь, пробирайся на ощупь.

Если вдруг и заденут тебя ненароком,
разбудив за забором собаку цепную,
значит, кто-то напуган Всевидящим Оком
и, скрываясь, тут бродит вслепую.

Промолчи. Ты успеешь себя обнаружить,
заразив расстояния собственным следом,
а пока пусть чужим отражениям в лужах
будет следующий шаг твой неведом.

Лишь однажды, пробившись сквозь сети волокон
электронных, стерев имена свои, лица,
ты отбросишь стеснявший движения кокон,
перестанешь молчать и таиться.

Антивирус

Запустил программу самоуничтожения —
поставил чайник — пора уже что-то выпить.
Наплевать теперь на почести и унижения.
...А когда-то давно боялся угрей и сыпи.

Всё же страшно бывает, когда мыслишь себя вне круга.
Ты — конечен, и мир без тебя справится.

Это в природе ничто не может быть друг без друга,
от тебя же системе легко избавиться.

За окном президент подметает улицу,
принимает товар в магазине, водит маршрутку,
это он, тот студент, что стоит у пивной и сутулится —
президент, снимает на час проститутку.

И не всё ли равно, как зовут тебя... имя и отчество...
Лишь запомни, что греческий бог это пьянство,
что еврейский — любовь, а ты — одиночество,
обращённое в вечности в непостоянство.

Закипает. Пора уже вымокнуть в чае,
не думать о завтрашнем дне, времени вялотекущем.
Звуки замкнулись в себе. Гаснущий солнечный шар означает,
что программа запущена.

Вращение

От груды камней ничего не осталось — время пришло.
Я умер в тебе. Мне написано там же родиться.
У тебя есть крыло, у меня есть крыло,
вместе, считай, уже птица.

Луна в совершенстве владеет искусством
морочить умы:
мы двинуты наглухо, снова сбегает из клетки;
к чёрту врачей и туда же таблетки,
не ждём приближенья зимы —
мы охвачены чувством.

Ты видела ясно, как лёгкая поступь
вращает планету:
прозрачна земля, и ты ходишь по звёздам —
мы видели вместе всё это.

по сути не был ни мессией, ни Иешуа.
И каждый, кто нахваливал мне жизнь,
украдкой — сверху вниз — считает этажи.

Не буду нагнетать, я обещал.
У нас всё ровно —
по пробитой лампочке, по ручке
однажды мы дойдём до ручки
и вылезем на свет.

По нашим щам
никто не выкупит, какой десяток лет
мы разменяли — третий? Пятый?

Бей в барабаны и танцуй,
пока не подковали пятки,
не научили двум вещам:
обманывать себя и врать другим.

Смотри в мои глаза — в них есть азарт
и пламя;
мне для того, чтобы летать, не нужен херувим,
чтоб вечно жить — не нужен камень
философский —
я есть, и всё тут.
Незачем гадать.
Умрёшь — начнёшь опять сначала.
Ты передай пилоту:
взрослые подростки, уложив детей в кровать,
ждут приземления
на дымной ряби Беломорканала...

Шумит листва, течёт огонь, горит вода,
плеяды звёзд на скатерти стола.
Что не дописано — дойдёт изустно
по радио ступеней и перил.
Такое чувство, что я полюбил.
На этот раз — подкожно.

Анна Мартышина

г. Пенза

Стихотворения

Новая, как рассвет, точная, как продавец,
Завтра придёт война — пересчитать овец.
Вытянешься в ответ в теле своём чужом —
Будто бы в животе чешут тупым ножом,
Будто из живота тянут иголки слёз.

Мудрая, как отец, долгая, как допрос...
Из цветника мясник вырежет жилы роз,
Землю распотрошит острым большим ножом.
Спрячешься от него — в теле своём чужом,
В тёплый тугой комок мысли переплетёшь.
Каждым сухим ребром станешь как этот нож.
Старая, как война, сбита до подошв.

Сколько в тебе любви? Вырви, заговори,
Страх умиротвори, дух олицетвори.
Вместо прямой борьбы нам остаются рвы.
Завтра придёт война — бомбы её мертвы.

А это бог — его потом распнут,
Ну а пока — смотри, какой высокий,
Он словно рыцарь из старинных сказок
Или весёлый русский богатырь,
Сошедший с тысяч одинаковых картинок.

А это жизнь — её уже живут,
И доживут до дна и сожалений,
Ну а пока смотри, как хороша —
Густым июньским облаком накрыта,
Пушистая и будто бы большая.

А это я — сажу, как воробей,
На жёрдочке — на лавочке и плачу.

Меня потом раздумают писать,
И в книжке будет меньше персонажей,
Ну а пока — смотри, как я могу
И всхлипывать, и щуриться, и думать.

И чем-то настоящим отдавать
В больнично-белой пустоте бумаги.

Между старым Адамом и новым Адольфом
Ева выберет что-то третье.
Из гремучей этой любви непременно родятся дети,
Не дозревшие до конца, перелюбленные вразнобой.
С голосами, слившимися в густой мелодичный вой.

Горизонт захрустит, перерезанный взглядом вдоль.

И теперь всё одно: дотерпи, доживи, успокой.
Застывающий белый крик, как поевшая душу моль:
Забирает своё, но не может переварить.
И до смерти прячет себя и учится говорить.

В этой припудренной комнате розовое окно
С тёмными жилками веточек, звёздочек, воробьёв.
Если с утра выглянуть — солнечно и легко,
Если проснуться ночью — как земляной ров.
Я запечатала шторами — но холодок сквозит,
Розовой пеной светятся тусклые фонари.
Рыхлое онемение — сможешь: не говори.
Розовый дух в комнате плотен и ледовит.

Перемолчу, вымолчу, снова заговорю —
Тёмный овал облака капает с потолка.
Если глаза выглядеть — радостна и легка.
Если сквозь сон вдуматься — чёрной зарёй горю.

Чёрной зарёй светится в щелях дворовый дым,
Кроме него в комнате — розовое окно.
Всё, что внутри комнаты, стало давно моим.
Дышит, сопротивляется только оно одно.

здесь,
на засыпанной разноцветным мусором планете,
горячими ветрами, холодными войнами иссушенной,
хочется, словно скучавшие после летних каникул дети,
обнять друг друга
словами
глазами
душами.

и жить так,
будто лучше не будет.
балансировать на лезвии бритвы хрупкое счастье,
не слышать, как грузно ворочается настоящее,
бесперебойно трясутся руки,
растут люди,
холодцом непрожёванных вероятностей шевелится
жестокое небо,
смерть выщипывает из человеческого клубка
случайную из множества судеб.

хочется верить: есть какая-то очередь,
а мы опоздали и встали вместе в самый её хвост.
и успеем стоптать неизведанный белый мир
дочерна.
отрастить в запредельное
лисий
пушистый
мост.

Наскреби красоты по засохшим этим полям,
понемногу с берёзовых веточек, ивовых родников —
ежедневные язвочки, еженедельные язвы,
многолетние рвы залатать.

И пригоршню земли, сыромятной,
с прожилками внутренних стылых вод —
затопить в глубине нарастающий фоновый голод.

Не пожрать этот мир. Не объять и не переварить.
Лишь на время отсрочить распад,
на какие-то крохи отсрочить
превращение в эту же грязь,
в сок для сладкой травы,
в пропитание птицам,
в рельеф для пустынных пейзажей.

Встань, уступи место,
чтобы пожить другому:
очередь из распластанных
временем на пространстве.

Там глубоко и тесно,
свалка ревущего лома,
звери стучат лапами
по трансцендентному пластырю.

Каждое слово — красное,
рыхлое и клыкастое,
рвётся от дома к дому,
как колобковое тесто.

Чтобы пожить другому,
надо немного места.
Люди растут, частые.
В них не продрать просвет.

Куда бы ни пришла, приволоку с собой
картошки на зиму, бездомных грустных кошек,
цветов в больших горшках, объедки, мусор —
густую органическую жизнь.

В твоих домах хрустально и бело,
белым бело! и очень много света.
Иду по керамическому полу
в носках, нарочно купленных и белых.
Но всё равно за мной — листва и ветки,
и насекомая ритмичная возня.

Дотронусь до прохладного фарфора,
с души роняя потожировые,
и — вдребезги. И всё зашевелится,
и взвизгнет хор густых плодовых мушек,
Неясно что во мне так долго жрущих.
Не много им, наверное, осталось.

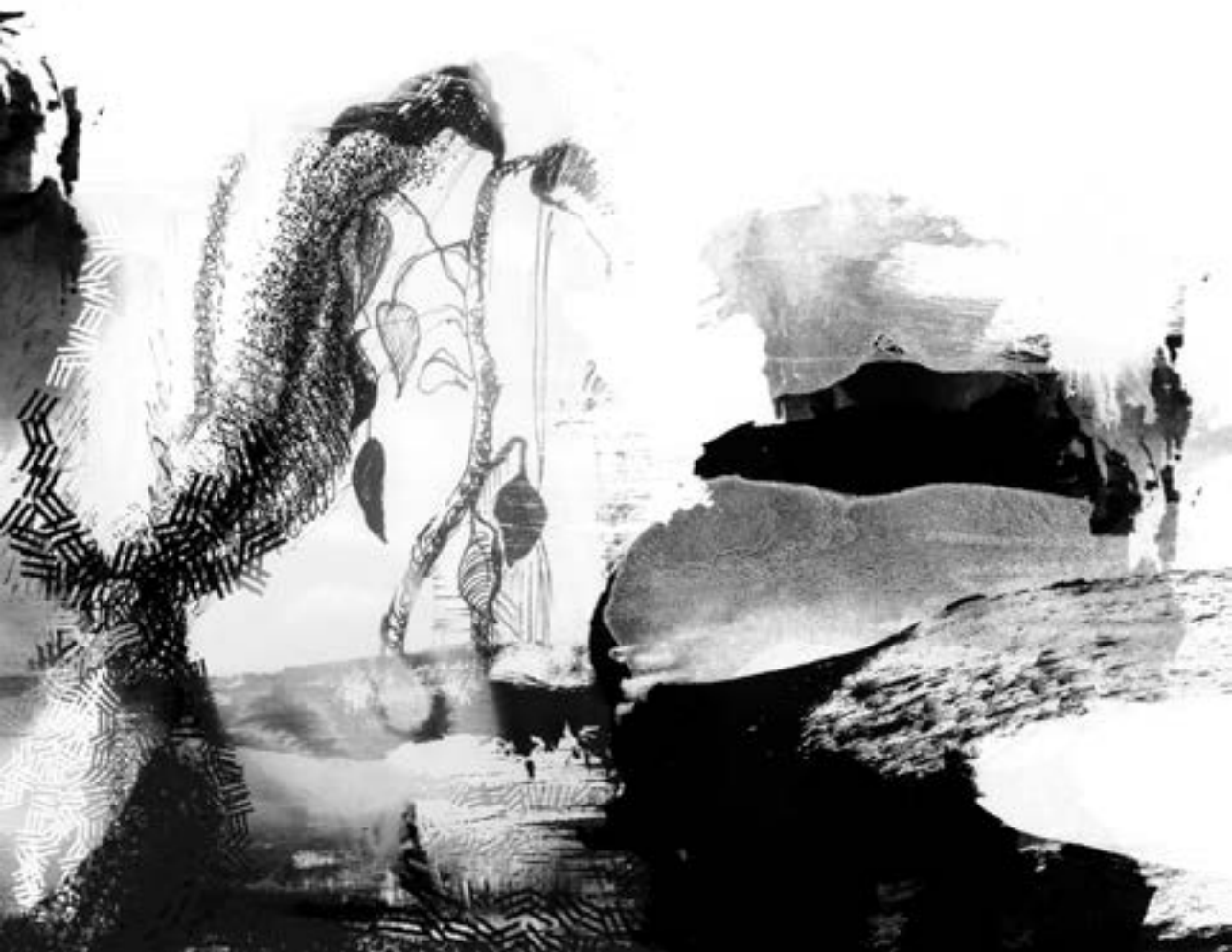
Какая странная сосущая тоска
по минеральной чистоте нежизни!
Какой жирнейший откровенный стыд
за это липкое живое тело,
повсюду оставляющее грязь,
в которую в итоге превратится.

Смерть — это то, чем мы отличаемся от камней.
Делает вечность понятнее, прожитый день — важней.
То, что роднит апостолов и голубей,
Хрупкую ночь снаружи земли и скользкую мглу в ней.
Смерть — это то, чем мы отличаемся от мертвецов.
Между нами и ними — мерная рябь часов,
Повторяющая за ритмом крови, дыханием, нервным тиком
Болью застывшего стона и новорождённого крика.

Я — это то, чем ты отличаешься от других.
Голос становится гуще, переливаясь в стих.
Душно молчат подвешенные в воздухе фонари.
Сядь у кровати, прислушайся и сгори.

Каждую искру плоти громко проговорю,
Новую музыку дам старому букварю.

Хлынет в пустую грудь плотной волной огня
То, чем ты отличаешься от меня.



1. Итак, приступим. Поначалу не было ничего, кроме желания говорить. Неважно, как будут сказаны слова. Неважно, что именно будет сказано. Сначала была просто жажда. Такая же, как желание пить воду в жаркий летний день.

Потом возникла ещё и потребность придерживаться плана, выбранного с самого начала. Придерживаться пунктов плана — это, проще говоря, значит лишь одно, — это значит всё время нарушать план.

Поэтому: Амстердам.

Ты можешь вообразить себе такой город? Мы с тобой живём в маленькой комнатке. Почти без мебели. Впрочем, скудность нас мало беспокоит. Нам вполне хватает того, что есть. У нас есть старый, продавленный диван с обивкой, съеденной молью. Есть кресло, деревянная табуретка, письменный стол. Готовить можно на электрической плитке. Полуподвальное помещение. Довольно сыро. Зато: какой вид из большого, распахнутого настехь окна! Два канала, один пошире, другой — поуже. Множество рыболовных барок, лодок и крошечных, малюсеньких лодочек. Солёный запах моря. Крепкий запах. Ветер приносит песок и соль. По вечерам, в сумерки, — причудливая паутина мачт, канатов и парусов на кораблях правого канала. Ну что, ощущаешь этот аромат? Чувствуешь запах океана?

А впрочем, почему только по вечерам? И ты, и я: мы смотрим на эти паруса, — утром, просыпаясь, жадно вдыхая солёную свежесть воды, запах, принесённый ветром с канала, ранним утром, и днём, когда каждый из нас ощущает, что мы можем хоть что-то изменить, что у нас есть ещё надежда. Ты просыпаешься, — может быть,

раньше, чем я? А если всё же сначала просыпаюсь я?.. Где мы живём, в каком времени, — непонятно. Пятнадцатый век, или может быть, шестнадцатый? Конечно, мы знаем об этом, но всё время забываем.

— Потому что это неважно, — говоришь ты, улыбаясь.

— Да, неважно, — отвечаю я. — Пойдём, погуляем...

— Нет... — откликаешься ты. — Если хочешь, иди, а я останусь.

Останусь дома.

Ты остаёшься дома и куришь кальян, подаренный старым арабским торговцем. Ну а я? Что делаю я? Наверно, брожу вдоль каналов, с трудом преодолевая желание сесть на первый попавшийся торговый корабль и уехать далеко-далеко. Как можно дальше. Потому что у меня такая болезнь — безудержная страсть к перемене мест. Солёный запах моря будоражит.

Но вид из окна! Мачты, лес мачт... Верёвочные лесенки, которые кажутся чересчур хрупкими, тонкими, ненадёжными. У нас с тобой есть обезьянка, маленькая ручная обезьянка, которая всё умеет (она умеет даже заводить стрелки огромных напольных часов из красного дерева). Только не может разговаривать. Когда мы с тобой спорим или всерьёз ссоримся — это обычно заканчивается тем, что один из нас, вспливав, убегает на улицу, бродить среди каналов, ну а другой... Другой остаётся, — наша маленькая обезьянка внимательно наблюдает за нами. Мы с тобой ссоримся, обезьянка крутит головой. Она смотрит то на тебя, то на меня. Это выглядит забавно; похоже на бесконечное движения маятника часов, туда-сюда.

Большие, чёрные, как уголь, глаза зверька отражают узкие блики морской воды и глянцевоcть камней, а кроме того, — мостовые, каналы, запах соли, ажурный керосиновый фонарь над входом в антикварную лавку, мавританские кофейни. Обезьянка смотрит чересчур пристально; по-человечьи; кажется, что она понимает слишком много. Ещё чуть-чуть, и я буду учить её разговаривать. А читать она уже умеет; на восточной стене нашей комнаты, в том месте, где обезьянка любит сидеть больше всего, я повесила пергамент с латинским алфавитом. Я сама нарисовала буквы, очень крупно, и обезьянка их никогда не путает. Если я её спрашиваю (обычно я занимаюсь этим, если тебя нет дома, потому что однажды, когда-нибудь, собираюсь сделать тебе сюрприз; хочу тебя удивить, рассказать, что научила обезьянку читать). Она знает все буквы до единой. Точно также, как не может спутать запах красного перца с ароматом кориандра. В таких вопросах обезьянку не проведёшь.

Можно пойти погулять. Эти лодки. Маленькие, совсем крошечные. И ещё вода: ребристая, зыбкая, иногда — ярко-голубая, иногда — серая. Можно сказать и так: бесцветная вода...

А дома по берегам каналов? Старые, коричневые; с высокими черепичными крышами, с узкими окнами, с подоконниками, заставленными глиняными горшками с лимонами, фиалками и фасолью.

На крыше каждого дома — флюгер, меняющий своё настроение вслед за настроением ветра; на крыльце каждого дома — кошка, определяющая погоду на завтра, и кухарка в застиранном переднике, оттирающая медный котелок от обеденной каши и заодно разглядывающая прохожих. Черепица на крышах позеленела от сырости; но кое-где она кажется серебряной, — на таких крышах черепица похожа на рыбу чешую.

Мы с тобой всегда вместе.

2. Или: фьорд в Норвегии. Так лучше? Может, и лучше. Мы живём на берегу моря.

Иногда ты уходишь на берег фьорда. Ты лениво, слегка рассеянно бродишь по берегу, среди валунов (тебе почему-то ужасно нравятся эти большие камни; тебе кажется, что они умеют говорить; но сам ты об этом молчишь, потому что, как известно, не всё можно выразить словами). Ну а я с тобой не спорю: глупо говорить об этом. Валуны. Эти камни слишком прекрасны. Если существует легенда исконных жителей этих мест, легенда о том, что нагромождение в особенном порядке установленных камней указывает на вход в подземный мир (только дождитесь нужного момента, не усните, не пропустите бледный огонёк, указывающий путь вниз, и — вперёд, то есть вниз, в глубину, за сокровищами, за золотом), — если существует такая легенда, значит камни — не просто камни.

Возле валунов растёт трава. Голубоватые валуны покрыты толстым слоем серого мха. На одном из камней древняя надпись; крупные рунические знаки.

Каждый день здесь новые сумерки. Они совсем не похожи друг на друга.

Действительно, красиво, я не спорю — чёрные валуны, голубые, серые, гладкие и бархатные. Но мне кажется, что они особенно невероятны по четвергам, когда с фьорда наплывает густой, белый, солёный на вкус и на ощупь туман. Верхушки камней остаются чёрными, а снизу их обволакивают хлопья расплывчатой, причудливой формы.

По вечерам ты пишешь повесть; медленно, отвлекаясь на разные мелочи: на короткий, но резкий шорох возле двери, на закат за окном, на приход внезапного гостя (обычно это почтальон, который приносит журналы и глупые рекламные проспекты; он очень любит поговорить и очень нам надоел). Ты пишешь повесть, нанизывая на прочную нитку сюжета переплетения фраз. Иногда, впрочем, предложения оказываются простыми и короткими, — всё зависит от настроения, от бликов на полу, от искр, что летят во все стороны; искры разбрасывает кошка, дугой выгибающая спину.

Ты пишешь, а я играю в шашки со своим зеркальным отражением. Потом мы меняемся местами. Ты играешь в шашки, а я сочиняю: «... бледный рассвет настораживается у входа в подземелье; хочется отодвинуть камни и спуститься. Вход. Зажмуриваюсь, заранее подготавливаю себя к сумраку. Я знаю: мрак, сам по себе, — не плохой и не хороший. Мрак — это просто мрак, и точка. И всё-таки, наши глаза привыкли к свету; а теперь нужно, чтобы они забыли о ярком солнце. Спускаюсь вниз — сначала в колодец, цепляясь руками за холодные, немного влажные железные скобы. Долго. Полная тьма. Потом, уже не сверху, а снизу, начинает пробиваться свет. Это свет подземелья. Наконец ноги нащупывают не очередную скобу, а твёрдую опору. Дальше — горизонтальное передвижение по узкой тёмной норе; вдоль стен, шершавых на ощупь, висят шары фонарей.

Кто бы мог подумать, что здесь, внизу, тоже бывает осень?! Под ногами шуршит палая листва, хрустят сухие семена незнакомых мне растений; откуда листья? Приглядываюсь, глаза привыкают к полумраку, начинают различать мелкие детали: карликовые деревья растут на всём протяжении норы, около стен. У них круглые кроны и листья — то сердечком, то звёздочкой. Деревья пожелтели; совсем как у нас, наверху. Осенние яркие цвета различимы даже в здешней полутьме. Я срываю листок и внимательно разглядываю: цвет охры соседствует с янтарным оттенком, приправленным ржавыми крапинками по краям — забавная радужка, кайма, придающая листику аристократичность.

Прохожу мимо куста, который пламенеет, словно оранжевая лисья шкурка. Спустя некоторое время тоннель выводит меня к указателю. То, что

это указатель, я понимаю не сразу, — сначала кажется, что это памятник. Он стоит в центре круга, выложенного из плоских камней неправильной формы. Приглядываюсь: памятник, чуть ниже человеческого роста, то есть ростом с ребёнка лет десяти, выглядит вполне обыкновенно — вот только непонятно, из какого материала он сделан — то ли это гипс, раскрашенный красками, то ли обожжённая глина, то ли воск, покрытый росписью. Костюм указывает на профессиональную принадлежность человека: на нём шапочка с рогами и бубенчиками, балахон из цветных ромбов и туфли с загнутыми кверху носами. Это шут. Левая рука шута вытянута на запад (я сверяю направление по компасу), а с указательного пальца свисают два медных массивных ключа. «Ключи от дверей!» — думаю я. Я пытаюсь рассуждать логически. Однако, если подумать как следует, ключ может подойти не только к двери. Ещё и к наручникам, и к воротам, и сундуку, и шкатулочке, и доспехам, и много к чему ещё. Иду, куда показывает рука. Снова — узкий коридор, всюду растения, вьюнок на потолке, с которого щедро осыпаются высохшие листья. Начинаю уставать. Глаза слипаются. Потом — опять круг камней, в центре — шут с вытянутой рукой и ключами; только он гораздо меньше ростом. И арлекиновая роба на нём выглядит выцветшей, совсем не такой яркой, как на первом. И опять нет дверей, к которым подошли бы ключи. Я двигаюсь дальше; норы становятся всё длиннее, шуты-указатели всё меньше и меньше ростом. А дверей нет. Мои карманы тяжелеют, набитые увесистыми ключами (у каждого встреченного шута я забираю ключи, надеюсь, что они пригодятся, — если не мне, так может быть, тебе; потому что о тебе я думаю всегда, ни на минуту не забываю). Шуты-указатели всё меньше. Это уже даже и не карлики. Мне встречается один размером с кошку. Тут, возле него, такого маленького, я останавливаюсь, понимая: никогда не дойти до конца, до центра лабиринта (потому что до меня наконец доходит: все норы, ходы и тоннели здесь расположены в виде лабиринта). Я опускаюсь на пол, склоняюсь, чтобы разглядеть лицо шута. Но оно, оказывается, совсем лишено выражения. Оно кажется бессмысленным, только губы растянуты в горькую, самовлюблённую улыбку. Ясно, мне не достигнуть конца пути, даже если доберусь до самого крошечного шута-указателя, размером с булавоочную головку. И я отворачиваюсь, закрывая лицо руками.

Кажется, пора возвращаться».

Бывает, я хожу на раскопки. Неподалёку от того места, где мы с тобой живём, археологи раскапывают древнее захоронение викингов. Близко подойти нельзя; но котлован, который они выкопали, настолько огромный, что мне, даже если я не пересекаю условные ограждения, отлично всё видно. Там внизу, на дне котлована, виднеется что-то похожее на погребальную камеру. Погребеньё, раскопанный курган викингов.

Я смотрю на археологов. Говорят они по-норвежски, ну и может быть, ещё по-английски, только это совсем не увеличивает мои шансы — я не говорю ни на первом, ни на втором. Остаётся только смотреть; раз уж говорить с ними нельзя.

Их яркие свитера и куртки с геометрическим орнаментом (ёлочки, ромбы, крошечные лабиринты, зигзаги, полоски, квадраты и змейки, окрашенные в голубой, малиновый и фиолетовый цвета) похожи на пёстрые балахоны средневековых арлекинов. А потом я всё-таки поговорила с одним археологом. Точнее, он сам заговорил со мной, — на чистом русском языке, потому что он оказался русским.

— Я давно тебя тут вижу. Тебя что, интересуют раскопки? — спросил он, причём я совсем не удивилась, что он сразу стал говорить мне «ты».

— Мы живём тут неподалёку, вдвоём, — отвечаю я; и, помолчав немного, зачем-то, ни с того ни с сего добавляю; — Мой лучший друг сейчас пишет роман. А мне нечем заняться, вот я и хожу тут. Надеюсь, я никому не мешаю. А вообще-то, меня и правда интересуют викинги.

— Викинги — слово неоднозначное, — говорит археолог, у которого заметно испортилось настроение после того, как я упомянула о своём лучшем друге, — вот, например, «джин», что по-твоему, значит?

Я знала ответ, но сказать ничего не успела, успела только пожать плечами. А археолог добавил:

— Джин — демон в мусульманской мифологии, и джин — крепкий алкогольный напиток.

После чего отвернулся и ушёл, не прощаясь, вниз, туда, где продолжались раскопки.

Внизу были различимы, помимо археологов, деревянная лодка викингов, украшенная резьбой, ну и, разумеется, доспехи и оружие. Раскопанные места, очищенные от всего ненужного, археологи отмечают белыми платками... Похоже на белый флаг, символ капитуляции.

Кажется, начинает накрапывать мелкий дождик.

Вот так здесь проходит время. Примерно так.

Но самое хорошее в этих местах, — это то, что вокруг много пустынных, безлюдных пустошей. Мы с тобой вместе бродим туда-сюда, порой выходим на берег. И вместе смотрим на море.

3. Или, может быть, Арктика? Может быть, тебе понравится Арктика?

Кажется, что в этих краях умирают все обычные человеческие чувства. Гаснут прежние иллюзии, стираются начисто ненужные замыслы и глупые намерения.

Льды, бесконечные льды. Белая, ослепительная, отражающая свет поверхность. Высокие нагромождения мёртвых замороженных глыб, очень похожие на средневековые замки (вспоминаются нибелунги, Грааль, ну и, может быть, крепости-бастионы с остроконечными, грозными башенками). Роскошные дворцы из дрейфующих айсбергов. Льды создают собственную модель мира. Они действуют согласно своей мимолётной прихоти; холодные подводные течения неспешно несут белые ледяные постройки, которые только кажутся хрупкими: эти стены сплющили не один корабль.

Мы с тобой живём на полуострове, чей нос уткнулся прямо в мокрую, замерзающую грудь Ледовитого Океана. И вот к чему я веду, — эта бесконечность, которая сгубила столько человеческих жизней (ещё бы, Северный полюс, разве можно от него отказаться, разве ты отказался бы, — ведь это символ Абсолюта?), она притягательна, как центр любого лабиринта. Начало и конец всего.

Мы живём на полуострове; рыболовы ушли на маленьком корабле в море, поскольку промысел уже начался. Они ушли в море; мы ещё помним, как они собирались, как медленно, внимательно сортировали и укладывали свои вещи. С собой брать только самое необходимое. Банки с консервами, рыболовные сети, медные крючки, рацию, тазы для варки варенья из сухофруктов и морских водорослей, ручные компасы и деревянные клетки для откормленных корабельных крыс (любимцев команды; ибо, когда крысы покидают корабль, это значит понятно что). И рыболовы ушли в море, — в туманной пелене холодного, густого, как кисель, воздуха долго и ярко горели их красные вязаные шапки.

Мы их проводили; ты стоял на берегу и махал на прощание рукой, а я осталась дома, в деревянной избушке (справа — жилые

помещения, слева — склад для продуктов, громадные мешки с мукой — безголовые великаны; винные бочки, коробки с макаронами и крупой, банки консервов).

Мы с тобой выходим на берег.

— Смотри, — говоришь ты мне, — Северное сияние.

Ты держишь меня за руку. На руке шерстяная варежка. Она немножко влажная, — потому что всё вокруг холодное, а рука у тебя — тёплая, слишком тёплая. К тому же ты немного волнуешься.

Северное сияние — оно очень красивое. В любом (пусть в грязном и к тому же до невозможности истрёпанном поэтическом раскладе), в любом случае сияние похоже непонятно на что: сполох искрящихся фейерверков, холодный перехлест бирюзовых и малиновых полос, дрожащих, переливающихся полос.

Потом возвращаемся домой.

Холодно; ничего не остаётся, кроме как залезть сразу под несколько одеял. Так я и делаю; а в это время ты бродишь туда-сюда по комнате.

Я погружаюсь в сон, пытаюсь согреть себя собственным дыханием. Это мне удаётся, к тому же шум твоих шагов убаюкивает. Вижу сон: «жалкая река в маленьком провинциальном городке, по берегам реки домики в три ряда, с палисадниками и воротами, курятниками и теплицами для овощей; там, во дворах, сушится бельё и зреют подсолнухи, впрочем, благополучно зреют совместно с сорняками. По берегам ничтожной, неспешной реки домики с мокрыми крышами, похожими на плоские шляпки грибов, липкие, глянцевые, с приклеенными травинками и надкрыльями безвременно погибших жуков. Всё как обычно. В такой картине нет ничего необычного. Но внезапно кое-что меняется; тот, кто видит сон, замечает, что река начинает меняться, впрочем, слово «внезапно» не подходит для снов. Река, заросшая кувшинками, наполовину увядшими, заросшая камышом и осокой, превращается в широкий поток...

А потом река замерзает; она покрыта толстым слоем льда, это не вызывает никакого недоумения. Только что здесь была вода — теперь лёд. Тот, кто видит сон, идёт по льду. И тут, примерно через каждые сто метров, у берегов появляются мёртвые фрегаты; без команды, без парусов, сдавленные ледяными торосами. И не только фрегаты; наблюдатель сна, который движется по течению покрытой

льдом реки (неясно, каким образом наблюдатель передвигается — на санях, на лыжах, или, может быть, пешком?), начинает замечать новые и новые жертвы льдов. Он видит деревянную лодку, сплюснутую двумя кусками льда, потом, метров через девяносто, обнаруживает намертво впечатанный в замороженный берег пароход с трубами, со множеством палуб и иллюминаторами вдоль бортов, типичный пароход начала века. Ну а после — снова парусник. И все эти суда — мёртвые, потому что река замёрзла. И так далее. Тот, кто смотрит сон, продолжает свой путь, снова и снова встречает корабли, и кажется, что это будет длиться бесконечно».

Льды, льды. Белизна льдов отражается у меня в глазах, и у тебя в глазах — тоже. Ты стоишь рядом со мной.

...

На самом деле ничего этого нет. Конечно же, нет. Ну вот. Ты далеко, за тысячи километров. Эти тысячи, вероятно, можно легко преодолеть, воспользовавшись услугами железнодорожной компании.

Казалось бы, нет ничего проще. Тысячи километров, тысячи всяких ненужных мыслей и воспоминаний, которые надо бы преодолеть, но — не хочется. И тысячи остаются со мной. И пусть они остаются.

...На самом деле ничего этого нет. Нет ни Амстердама, ни норвежского фьорда, ни Арктики. Есть только стол. Стол в комнате, где я сижу. Коротая часы, которые молочной клейкой плёнкой свёртываются в дни (ну почему какао в общественных столовых всегда покрывается такой плёнкой?), а дни в свою очередь — в недели.

Ничего нет, есть только теория невозможного, а ещё: стол и окно, пейзаж за окном. Ничего нет, а есть: обезьянка, прикованная железной цепью к кольцу в стене. Обезьянка на обложке потрёпанного, читанного-перечитанного журнала, который давно уже валяется на столе (за обезьянкой, той, что на обложке журнала, — голубое море).

Есть сухая рыба костька. Она напомнила о фьорде и о Норвегии.

И ещё есть глянцевая обёртка мороженого «Артика», которую забыли выбросить. Всё, больше ничего. Ну, может быть, душный, бесцветный и беззвучный воздух комнаты, где я сижу. Потому что окна плотно закрыты.

#ничейность

#СТАЛКИНГ



#чбфото



Дракон спал. Как и полагается настоящим состоявшимся драконам — на куче золота. И хотя ему снился довольно странный сон, в котором он белой невинной овечкой бегал по изумрудно-зелёному сочному лугу, сон его был безмятежен и спокоен. И потому не сразу звук приближающихся к его пещере шагов выудил его сознание из сладкой паутины неги в жестокий реальный мир. Золотистый глаз дракона распахнулся, когда осторожно подкрадывающийся, как он считал, рыцарь в не менее золотистых латах уже стоял у входа. Дракон внимательно посмотрел на незваного гостя и глазом показал на свалку оружия, доспехов, костей и черепов, что взгромоздилась у стены, намекая на возможный результат нежелательного визита.

— Кхм, — кашлянул рыцарь. — Я — сэра Афнусий, — многозначительно произнёс он, — именуемый в некоторых краях Бесстрашным.

— Доопуустииим, — медленно и бесстрастно протянул дракон. — Чем обязан? И к чему вам эта острая штукенция в руке?

— Ну... это... — рыцарь засунул меч в ножны. — Афнусий — я, за принцессой Аурелией.

— Аааафнууусий, — продолжал тянуть дракон, — деньги вперёд. Воон туда, — он показал хвостом на груды монет в дальнем углу.

Рыцарь прошёл в угол и, достав со спины заплечный мешок, ссыпал в кучу золотые монеты под внимательным оком дракона.

— Принцесса там, — снова махнул хвостом дракон во мрак пещеры. — Неблагодарные существа эти принцессы, надо сказать. Им личную жизнь устраиваешь, а они вечно забьются вглубь и рыдают.

Рыцарь, неуверенно ступая, исчез во тьме в указанном направлении, чтобы уже через минуту появиться вновь с несколько ошарашенным видом.

— Но это не она!

— Что значит не она? — озадачился дракон. — Не принцесса?

— Принцесса, но не Аурелия. Это её сестра Эурелия.

— Разница всего в одну букву, — заметил дракон. — С высоты драконьего полёта легко не различить. К тому же, меня никто не предупреждал, что их там несколько.

— Но мне нужна Аурелия! Я хотел жениться на ней, и договор был на неё! Дракон холодно посмотрел на рыцаря.

— Надеюсь, дорогой Афнусий, подобные форс-мажорные обстоятельства не скажутся на вашей рыцарской чести, и Вы спасёте попавшую в лапы дракона девушку, как и полагается настоящему рыцарю. За ту же цену, разумеется.

— Да, но... — растерялся рыцарь, — поймите же, сэр Дракон, я не могу вернуться с Эурелией. Тогда мне придётся жениться на ней вместо её сестры. А я...

— Сэр Афнусий, — перебил его дракон, хищно выгибая шею и нервно постукивая когтями по каменному полу. Он желал как можно быстрее отделаться от рыцаря и вернуться в свой чудесный сон, где его ждало счастливое умиротворение альпийских лугов. — Не испытывайте моё желание проверить ваше бесстрашие на деле. Забирайте принцессу и живите долго и счастливо.

— Но мы могли бы договориться, — не сдавался рыцарь. — Вы отнесёте Эурелию, а принесёте Аурелию. Я заплачу двойную цену!

Когти дракона застучали чаще.

— Афнусий, — с трудом удерживая спокойный ледяной тон, сказал дракон. — Драконы похищают принцесс, а не приносят их обратно. Это фантастика! К тому же очень вредная для бизнеса. Она Вас узнала?

— Кто? А, Эурелия. Нет, она спит, к тому же там совсем темно. Да и виделись мы всего раз на балу.

— Тогда поступим так. — отчего-то сразу перешёл на шёпот дракон. — Неизвестный герой, скрывающий своё имя и не показывающий своего лица, спасает принцессу от лап чудовища. Убивает дракона и возвращает её к родительскому очагу, получая за это вполне заслуженное вознаграждение. Которое после может потратить на освобождение любой другой принцессы.

— Аурелии, — поправил рыцарь.

— Любой другой принцессы Аурелии, — согласился дракон.
— Идите же уже, бесстрашный Афнусий, время совершать подвиг.
А я притворюсь мёртвым.

С этими словами монстр распластался на своей груди золота и принял бездыханный вид.

Рыцарь ещё немного поколебался и пошёл за принцессой.

Через несколько минут они уже пробежали мимо дракона к выходу из пещеры.

— О, сэръ рыцарь, Вы и правда одолели это чудище. Оно точно мертво? Кажется, что оно только спит. — лепетала полусонная принцесса. — А давайте, мы отрубим ему голову. Она чудесно будет смотреться в нашей спальне.

Рыцарь нервно поперхнулся.

— Не сейчас Ваше Высочество, мы должны спуститься с горы пока светло.

Он увлёк её из пещеры, и дракон приоткрыл глаза. «Какая кровожадная особа, какой жестокий мир, — подумал он, — понятно, почему на ней не хотят жениться». Дракон принял более удобную позу и приготовился снова заснуть, когда на пороге пещеры вновь появился рыцарь Афнусий.

— Внизу в деревне, — без слов понял дракон. — Спросите чучельных дел мастера. Лично снимал с меня мерку. Получается очень натурально.

Дракон закрыл глаза, давая понять, что разговор закончен. Через минуту он уже скакал по зелёной травке, любясь белыми барашками облаков в ярко-голубом море небосвода. В мире его снов никто не мечтал убить дракона.



Юрий Серебряник

г. Пенза

Стихотворения

Морская капуста растёт в океане Тихом,
Мозгов не имея, не знает себе забот.
Ты ела её в том походе своём великом,
Когда вымерзал твой «почти сорок первый» год.
Когда в электричках курить ещё было можно,
Когда в той ночлежке под корень вымерзли вши,
Когда ты решилась выпить неосторожно,
Чтоб после — не пить никогда, даже «для души».
Ты хочешь её есть по новой, и это странно,
Ты так плюс по Цельсию в тот добавляешь путь.
...А где-то под сердцем мечется тень катрана*,
Что хватит зубами — и сразу про кисть забудь.

**Катран (лат. Squalus acanthias) – акула из рода колючих акул семейства катрановых акул отряда катранообразных. Обитает в умеренных водах бассейнов всех океанов. А год тут имеется в виду 2005-й, если что, тогда можно было в электричках курить, в тамбуре.*

Ты продашь свою душу своим мертвецам
И, конечно, младшей сестре.
Ты надёжно забудешь лицо отца,
Спрятав в пачку от сигарет
И оставив на лавке в осенний день,
Там, где шумен автовокзал,
Потому что цену назначить лень
И про золото — кто сказал?
Никакого золота, серебра,
Мараведи*, дукатов, баб...
Расписного волка тепла нора,
И волчонок в ней слеп и слаб,
Вон он тычется в мягкий мамкин живот,
Где достаточно молока.

Это он с душою твоей живёт,
Не развилась своя пока.
Так что вся твоя плата — сухая степь,
Что полна антилопных стад.
И вот так не страшно и умереть —
Носик высунуть на закат.

**Мараведи – испанская золотая монета (XI–XIV вв.). В своей работе «Религия в истории народов мира» (Москва, «Издательство политической литературы», 1986, издание четвёртое) С.А. Токарев указывает, что для канадских эскимосов характерно следующее верование: в теле ребёнка сначала живёт душа его деда или бабушки, но только до тех пор, пока собственная душа ребёнка не окрепнет; что же происходит с душой деда потом – эскимосы не знают (страницы 117–118, главка «Посмертная судьба души»). Гиеновидная собака, или гиеновая собака (лат. *Lusaon pictus*) – хищное млекопитающее семейства псовых, единственный вид рода *Lusaon*. Её научное название означает: *Lusaon* в переводе с греч. – «волк», а *pictus* в переводе с лат. – «расписной» (то есть у меня калька с научного названия, но принятые русские мне не нравятся – Ю.С.). Обитает в степях в Африке южнее Сахары. Подобно европейскому волку, живёт и охотится стаями.*

Значит, жёлтых цветов понабрать букет?
Отвратительных? Нет, ни разу:
Молочай зацветает тут сотни лет,
Землю делая желтоглазой.
О любви не нужен тут разговор —
Больно надо болтать, не веря?
...Маргарита придёт с Маржеридских гор
Жеводанским голодным зверем*.
Восемнадцатый век, серебро в стволах,
Скот под личной охраной бога,
И под бусою шкурой — конечно, страх,
И к селенью ведёт дорога,
Потому что лосей, кабанов, косуль

Местный граф только жрёт без счёта.
Он потом будет в этом казнён лесу,
Не доедет до эшафота,
Да и хрен с ним, но жаль, что пуста нора,
Что одна ты в феоде целом.
В волчьем вое слышится «Ça ira!»**,
Но лишь ты пока под прицелом.

**Жеводáнский зверь (фр. La Bête du Gévaudan, окс. La Bèstia de Gavaudan) – прозвище волкоподобного существа, зверя-людоеда, терроризировавшего север французской провинции Жеводан (ныне департамент Лозер), а именно селения в Маржеридских горах на юге Франции, на границе исторических регионов Овернь и Лангедок, с 1 июня 1764 по 19 июля 1767 года.*

***«Ah! ça ira» (также «Ça ira»; рус. «Ах, [дело] пойдёт!» или «Ах, пойдут дела на лад!»; название традиционно передаётся в транслитерации: «Ах, са-ира!») – одна из самых знаменитых песен Великой французской революции; до появления «Марсельезы» – неофициальный гимн революционной Франции. Возникла летом 1790 года в дни подготовки к празднику, посвящённому годовщине взятия Бастилии. Автор оригинальных слов Ладре (Ladré) – бывший солдат, который зарабатывал на жизнь как уличный певец. Музыка является популярным контрдансом под названием «Le Carillon national», который был написан скрипачом Бекуром (Bécourt), работавшим в театре Божоле (Beaujolais).*

Месяц, месяц – золотые рожки!
Расплавь пули,
притупи ножи,
измочаль дубины,
напусти страх на зверя, человека и гада,
чтобы они серого волка не брали,
тёплой шкуры с него не драли.
Слово моё крепко,
крепче сна и силы богатырской.

Русский заговор, записан Сахаровым

Да бог ни один не разводит судьбу руками
И даже не смотрит, наверно, сюда-то, вниз,
Пока ты даёшь оленёнку рога из камня,
Пока ты даёшь тюленю каменный мыс.
И Месяцу-златорожке мы все — обуза,
И только твоей, девчушка, руке дано
Расплавить заветные пули в ружье француза
(Ну, или там англичанина — всё равно)
И нож затупить надёжно и справедливо,
Чтоб содранных шкур здесь не видели берега.
...Пока твоё время не замерло льдом залива,
Вот ты-то и будешь — Месяц златы рога.

**Дело тут происходит примерно на востоке нынешней Канады, поэтому и появляются англичане и французы. Мотив «изначально безрогому оленёнку дают каменные рога» заимствован из мифа нганасанов (Таймыр) про прародительницу Немынуго, миф этот приводит Ю.Е. Берёзкин в своей работе «Мифы Старого и Нового света».*

Немцы в норвежских фьордах долбают атом,
Делят с советским наркомом разбитый мир.
Польша не сгинет, коль дан камуфляж солдатам,
Но не гусарский славных веков мундир.
Славный мундир непригоден в эпохе новой:
Целиться в яркие пятна легко — аж жуть.
Польша не сгинет с армией Людовой*,
Что по лесам да болотам скрывает путь.
...Ты — тоже прячешься, в джинсы, что старше Рима
И повидали разные города,
Чтобы мужские особенно взгляды — мимо,
Чтобы тебя не тронули — как тогда.

**Армия Людóва (польск. Armia Ludowa – «народная армия») – военная организация Польской рабочей партии, которая действовала в 1944–1945 годах в Генерал-губернаторстве (Третий рейх), то есть на оккупированных Германией польских территориях. Была у немцев тогда своя ядерная программа, потому американцы так и торопились со своим Манхэттенским проектом. Ну, а про пакт Риббентропа-Молотова и так известно.*

Про Йорика

Всё, что есть у тебя — лишь сходящиеся концы,
Ну, и то, чем обычно хвалятся мертвецы,
Перед Дикой охотой тугой проверяя лук:
Всё, что есть у тебя — только дело твоих же рук,
То, что ты здесь успела, отчаянно не вполне.
Принц, которого в детстве катала ты на спине,
Принц, что вспомнит тебя, пыльный череп подняв с земли,
А потом — на Британию выпустит корабли.
Корабли привезут ему всё, что он заказал,
А ещё королевну — что ельник, темны глаза —
Чтоб скрепить династическим браком союз земель.
А тебе остаётся лишь глинистая постель.

**Йорик действительно катал маленького Гамлета на спине, о чём тот упоминает в том же самом монологе. Дикая охота – проносящиеся в ночном небе мертвецы во главе с Одним (или, в других районах, Фригг).*

*Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше,
а самъ въ ночь влькомъ рыскаше;
изъ Кыева дорыскаше до Куръ Тмutorоканя;
великому Хръсови влькомъ путь прерыскаше.*

«Слово о полку Игореве»

Ты не боишься драконов — но не гиен,
Если они охраняют принцессу — страшно.
Если они охраняют — не нужно стен,
И итальянцы им станут едой прекрасной;
Сдохнут в безводье, успев только матюкнуть
Дуче — его ж ты принцессе в мужа желаешь?
Зверю степному, что солнцу прерыщет путь,
Только винтовки в руках не хватает, знаешь.
Только винтовки — чтоб ласково вжать курок,
Быстро конец положив завозному «счастью».
...Да, а принцесса — пузатый смешной щенок —
Схватит твой палец беззубою тёплой пастью.

**Имеется в виду Вторая итало-эфиопская война (1935 – 1936).*

Игрушечная горилла

Что от тебя там останется — через год?
Что там за пивом боги тебе сказали?
Бабка из старой юбки тебя сошьёт,
Чтобы продать для девочки на базаре.
Девочка будет рада, ей, скажем, пять,
Только вот мама скажет, зайдя с едою:
— Эй, ну не надо зверя-то одевать,
Хоть он и дальний родич для нас с тобою.
...Что ты таращишь пуговицы-глаза
В самую ночь, когда дети давно уснули?
Та на спине серебристая полоса —
Это когда-то был след от бельгийской пули.

**Автору надо ставить «неуд» по биологии, потому что серебристые спины у горилл действительно бывают, но только у самцов, причём старых и сильных. По-английски они называются silverback и обычно доминируют в группе, а у их потомства больше шансов выжить. А бельгийцы тут при том, что в бассейне реки Конго были именно бельгийские колонии.*



СОТЫ:

коллективная подборка



Be

У меня ни нации, ни гражданства,
Ни ложного чувства патриотизма.
Лишь уважение к тому пространству,
Где я случайно родился.

Вадим Борзихин

г. Пенза

У меня нет любовницы, нет любимой,
Разуверился в чувстве огромном.
Слишком часто меня жгли крапивой,
Когда признавался скромно.

У меня нет ни евро в кармане, ни цента,
Лишь пара картонных, как весь этот свет.
А если дадут мне хоть долю процента,
То я прогуляю её в сей момент.

У меня за душой — ни квартир, ни сберкнижек,
Я — студент, а студенты такой народ.
Я бы все деньги мира отнёс сразу в книжный,
А на сдачу купил бы пивной ларёк.

Я тишины боюсь, боюсь тоски,
Я музыку свою включаю громко,
Чтоб разнесли по комнате колонки
Любви и счастья рваные куски.

Боюсь любви, внезапной и горячей,
Боюсь сгореть, как бабочка в огне.
Подпалин много было на крыле,
Но не могу я жить теперь иначе.

Наивный сын, расстроенный мечтатель,
На скрипке старой лопнула струна,
Я так боюсь, что будет тишина
Вокруг меня. Спаси меня, Создатель!

Ольга Кузьмина

г. Пенза

Стрижи

Счастье — это когда над
головой летят стрижи.
Знаешь, я ужасно рад,
что лежу с тобой во ржи,
состригая руками/размахом крыльев
не воздух — озимую карму.
Мы рисуем в воздухе рельеф:
песок, вода, рисуем корму
белой яхты и, возможно, лето.
Опустошаем лёгкие криком в небо,
восторженные, солёные, словом где-то
на средиземноморье. Облизываем нёбо
шершавым солнечным языком.
Греем синюшные ладошки.
Пьём терракотовый тридцатилетний ром —
мы как с картинки, как с обложки.
Мы пробуем каждое слово на вкус.
Ты и Я — две крайности чего-то общего.
От жары сбивается фокус,
липнет к рукам оранжевый манго
и ветер обдувает так, что мы
чувствуем его на теле шифоном.
И не важно, Крым ли это, Багамы...
Здесь цикады поют с нами хором,
а мы опустошаем лёгкие в малиновое небо
и близко-близко, лицом к лицу,
солнечным языком касаемся нёба.
Рука в руке, со мной танцуй.
Верь мне. Всё так и будет...
Я нарисую, ты напишешь рассказ.
А по прошествии десятков лет
кто-то прочтёт и о нас пару фраз.

По теории

А мысли — ветераны куликовской —
торгуют молча на развале истории.
На лотке снедь нежностью вдовской
окутана, как шалью. По теории,
зреющей в моей голове — это как
тлеть сухой травой, горчить муравьиным соком.
Я тринадцатый утерянный зодиак,
любуюсь севером, но не востоком.
По одной из теорий, я всего лишь
кем-то смоделированная игра,
и это в двух словах не объяснишь —
сейчас Христос, но до него был Ра...
А я, как и тогда, всего-то стылый мотылёк,
окутанный опекою паучьей.
Без молока попиваю кофеёк
да над душой стою тяжёлой тучей.
Разглядывая впалость щёк,
Изрекаю: «Это эпоха пятого солнца.
Люди играют в жестокие игры».
Но великая горечь из глаз моих льётся,
оцифровывая память, оцинковывая икры —
я по колено в земле распаханной
не плугом, но благословением булатным,
не словом, произнесённым монахиней,
но городом и колоколом осадным.

По теории в моей голове, к ноябрю
откроется створочка в родничке...
А я пока повишу, подумаю, докурю,
я ещё подёргаюсь у жизни на крючке.

#чбфото





Мария Владимцева

г. Заречный

Сны, как снежинки, легко опускались в ладони мне.
В тихой душе осторожно попрятались звери.
Вновь засыпаю под звуки тревожной симфонии,
Полной надрыва, любви и глухого смиренья.

Листья прозрачными стали, истаяли в золото.
Лёгкий морозец отлил из воды витражи.
Лунное яблоко кем-то на ветви наколото.
Осень. Ноябрь. Лисица по снегу бежит.

Зияют глазницы пустых кастрюль.
С добрым утром!
В окна заглядывает июль,
Сыплет пудрой.
На подоконнике у меня
Треть недели
Вишни бусинами горят
На варенье.
Невесомые облака,
Ветры, птицы.
Письма пишет моя рука
В три страницы.
От признания будет толк
Лишь у края.
В сердце ангелов пьяный полк
Гранж играет.

Кресло-качалка. Открыто окошко чердачное.
Сажу в темноте. Закуталась в одеяло.
Немного скрипки и тонкого детского плача... и
Мелодия становится идеальной.

Мрачные тучи. Мелькает луна безногая.
Шелест страниц. Тёмный сад подступает ближе.
Книги по полу причудливо так разбросаны,
Лежат, затаившись, и напряжённо дышат.

Рифмы в квадрате строфы — для других завещание...
Чутко-болезненное... с закушенной губою...
В кроткого ангела медленно превращаюсь я,
А, может быть, просто становлюсь собою.

Яблок ворованных кожа преступно холодная
В ладонях моих не согреется... Лёгкие думы...
Буду когда-то и я радостно и свободно
Перебирать сердец самые тихие струны.



Вячеслав Огнёв

г. Пенза

Камень, ножницы, бумага

Камень,
 ножницы,
 бумага,
Карандаш,
 огонь,
 вода,
Если прав ты был однажды,
То не значит навсегда!

Камень —
 копье революции!
Ножницы —
 по металлу,
Бумага
 всё стерпит
 молча,
Но сложится по карману.

Карандаши —
 цветные,
Из искры заплещет пламя,
И даже вода бывает
Мёртвая и живая.

Ирина Полякова

г. Пенза

Не-перо

Чирк... Снимаю с ручки колпачок. Тонкий-тонкий стержень, почти точёное перо: с чернилами. Но не перо. Не-перо с чернилами. Скрипя, начертает. Округлая архитектура букв и знаков — поначалу блестяще-влажных, потом матовых, графитово-чёрных, — впитывается в бумажное полотно.

Сквозь скрип не-пера стараюсь почувствовать, кто, куда и зачем ведёт мою руку по этой траектории, прошупываю пророчество лёгких, свободных, немного неровных, но весомых строк.

О чём скрип? О том, что непрестанно в мыслях, и о том, что случайно уловил нечуткий слух, уловил и мгновенно потерял. О человеке и о чудовище. О невыносимой нежности и о проклятой ревности. О гении и о бездарности. О вечном и об овечном. И прочая, и прочая. Нечто необыкновенное! Под натиском вдохновения — скрип, скрип, скрип... Получается почти притча: с поучением. Но не притча.

Не-притча с поучением из-под не-пера с чернилами.

Нечаянно осознаю: всё обычно и предсказуемо. Никаких закрученных сюжетов. Да и вообще ничего: ни натиска, ни траектории, ни скрипа. И никто никуда не ведёт руку. Лист остался чист, чернильный стержень — не почат, мысли — не увековечены. Не-вдохновение.

Щёлк — и полумиллиметровый пишущий шарик снова угнездился внутри колпачка.

Про полис:

о городе,
в котором живу



Be

В Пензе

Зелёный шум, зелёный дым
по скверам и садам.
Летят над городом моим
года, года, года...

А меж садов — издалека
течёт — из тьмы веков —
Сура — неспешная река,
как говор пензяков.

Куда спешить?
Кому служить?
Каких молить богов?
Кому здесь жить,
кому не жить
у этих берегов?

Сюда, в Украину Руси,
какой ни тѣк народ!
Был не один на небеси
свершѣн солнцеворот.

Славян, буртасов и мордвы,
чувашей и татар,
и днесь безвестной родовой
погост здесь и мазар*.

А я? Я — плод каких родов? —
Ответить не берусь.
Одно лишь знаю: земляков
здесь выплавил Русь.

**Мазар (тюрк.) – кладбище*

Лидия Терёхина

г. Пенза

Стихотворения

Дождливым летом в Пензе

В столице — пир, салютов полымь.
От Москвы прогнали тучи в мае,
и теперь они над Диким полем
вольно, как татаровья, гуляют.

Мечут вниз серебряные стрелы,
знамёнами рваными полощут.
Полонили город отсырелый —
бела дня не отличишь от ночи.

Вот ползут куда-то горожане,
маскируясь под грибное царство,
пропадают враз за гаражами —
входит в раж небесное коварство.

Ночь светла от искр электролиний,
тёмен день от молний безрассудных.
Гром пускает рокот по долине —
дескать, час грядёт последний, судный.

Очумев, средь улочек-каналов
фыркают коты-автомобили:
выбираясь из глухих кварталов,
фары и подфарники врубили.

Дождь отпляшет в лужах с пузырями,
на газонах выбьет град траву,
тучи отдохнут. И пустырями
ломанут всей силой на Москву.

Дождь после засухи в Пензе

Будто где-то мандолина
мелодично: трень да трень...
Слышишь, Пенза, Магдалина
из окрестных деревень,
все былины, сказы, руны,
все каноны и псалмы?
Исполнители-холмы
теребят косые струны.
К вострепнувшейся земле
свесил струи свод небесный.
Слышишь, звуки новой песни
вызревают в серой мгле?!

На Тамбовской заставе

Вере Дорошиной

В Архиерейском саду
пахнет осенью терпко и пряно.
На кирпичных развалинах
буйствует хмель и ликует.
Мягкие лапы
густого сырого тумана
выткали в куще деревьев
парчу золотую.
Что происходит
в его вековом запустенье —
за заколоченной наглухо
ветхой калиткой —
в мир ли глядят,
раздвигая тесины,
растенья,
делят ли снедь,
в тайный лаз проскользнувши,
калики?..
Город вверху льёт неон,

ускоряет движенье,
а в Митрофаньевской церковке
теплятся свечи,
по закоулкам
снуют осторожные тени,
тянет дымком —
затопили голландские печи.
Тысячеглазые,
бдят,
заступив за заставу,
многоэтажек высотные серые башни:
из-за лесов не течёт ли
с разбоем орава,
не застигает ли
дикая конница пашни?..
Пусто на тракте.
Стрижи городские летают.
Чиркнув крылами
о чёрную ленту гудрона,
дружно взвивается вверх
суматошная стая
и исчезает
в сгустившейся мгле
небосклона.
С рёвом по новой бетонке
несутся машины,
щёткой вдоль трассы
торчат оголённые прутья.
Где нам с тобою
наутро придётся очнуться? —
Здесь
перекрестье веков
и времён перепутье.

29 марта в Пензе

Самую немыслимой метелью
марта завершилась полоса.
Мерно крыши тенькают капелью
да звенят синичьи голоса.
Отроились бешеные осы,
сгинула орава белых мух,
распустило солнце златы косы,
и древесных снов разлился дух

по проспектам, закоулкам, скверам,
мощно, заглушая гарь и гул,
обновляя в возрожденье веру.
Март через себя перешагнул.

Улетает он, невероятный,
вслед за птичьим гамом в облака.
Впрочем, спят ещё под снегом ватным
дальний лес, долина и река.

Пензенское

Колдыбая на ухабах,
нас везёт троллейбус старый
мимо мэрии и Думы,
мимо храма и базара.

Тарахтит он и трясётся,
словно трактор марки НАТИ,
сыплет искрами, плюётся:
«Перемен хотели? — Нате!».

Колченогий дед с клюкою,
с баннным веником в газете,
бабка — этим нет покоя —

тащит в правой сумку с дачи,
внук под левою рукою...

Нам бы только до аптеки,
до собеса, до детсада,
до Суры, где ловит грека
в тине рыбку или рака...
Пассажирам много ль надо?!

Мне — из-за привычки прежней
жизнь обдумывать в дороге
другом стал рогач убогий —
в дали дальние не ежжу.

И пока скрипит троллейбус,
объезжая спящий Глобус,
может, я ещё успею...
Может, я ещё сумею...
Но смотрю напрасно в оба:

Глобус — памятник Союзу,
стал легендой, сказкой, былью,
он правителям в обузу —
поседел, покрылся пылью.

За окном опять поплыли
«Караваны» и «Магниты»,
перекрёстки, переулки,
новостроек монолиты —
жизнь такая и сякая —
и в жару, и в непогоду
пей её взхлёб и вспась...

Лишь мгновенье есть подумать
перед зеброй перехода:
«И куда река людская
так торопится попасть?»

Проезжая по Заводскому району

Ольга Бузова. Пиво «Визит».
На мосту банный баннер висит.
«Караван» на «КаГау» глядит,
А к нему прилепился «Магнит».
Их подначивает «Атак»,
Дескать, смотрит соперник «не так».

Горло вдруг охватило петлёй:
Это ж город утерянный мой!
За окном несуразной строкой
Проплывает район Заводской:
три барака, высотка, забор...
Там же юность моя до сих пор
Бродит в тихом, заглохшем саду.
Только я туда не попаду.

И случайно не встретиться с нею
По вечерней заре на аллее
Комсомольского парка, когда
Прихожу прогуляться туда.
Но она там частенько бывает.
Я же видела, как проплывает
Белым облачком, тая во тьме.
Только нам не посметь, не суметь

Здесь ни встретиться и ни расстаться —
Нет таких промежуточных станций
В неоглядных просторах земли.
Не ищи, не зови, не моли...
Вот когда подытожу года,
Возвратится она — навсегда.

Предновогодье в Пензе

Стеклобетонные хоромы
сулят проценты скидок в дар,
унылый ёлочный базар
раскрасил будни в окись хрома.


Народ надеется: январь
смягчится и снега обрушит,
бесснежье, если верить Пушкину,
такое же бывало встарь.

Декабрь валяет дурака.
Мороз ухмылку прячет в бороду.
Висят над выстуженным городом
дымы, совсем как облака.

Суры чернеют берега.
В предновогодней круговерти
себя я заставляю верить,
что где-то копяся снега,
что впереди нас радость ждёт
чистейшая, из дали млечной
на муравейник человеческий
опустится под Новый год.







Бортничество:

*творчество приглашённых
авторов*

Be

Малометражный мир

Надежда Князева

г. Арзамас

Стихотворения

Врастая в грунт кредитов и квартир,
Ложась на дно районов многоспальных,
Мы создаём малометражный мир
Настольных пятен, надписей на скальных.

Насыщенный досуг, насущный хлеб.
В конце тоннеля — свет настольной лампы.
Теряясь в вышине, опоры ЛЭП
Несут равнину неба, как атланты.

Не жалко дни, как серые листки,
Срывать с дешёвой календарной кроны.
Не страшно плыть в течении реки
В тоске провинциального перрона.

Но вынырнешь — а ночь так молода!
Висит звезда — холодный света сгусток.
Высоковольтный ветер в проводах.
И пусто, и светло.
Светло и пусто.

Подуй на лампу — вспыхнет электричество,
Бенгальским одуванчиком треща:
Откроется безмерное количество
Чудных теней, привязанных к вещам.
Топорщась, словно крылья насекомого,
Так судорожно скачут по стенам,
И кажется, что у всего знакомого
Есть тёмная, чужая сторона,
И свет в окне не затмевает ужаса,
Ползущего среди сырой травы.

Ночные мотыльки бездумно кружатся
Вокруг твоей бездонной головы.

Книга

Я книга. Чёрных строчек этажи.
Открой, когда тоска скребёт когтями,
Листок к больному сердцу приложи —
Затянет раны.
И сюжет затянет.

К себе не примеряй прямую речь:
Вся правда между реплик прорастает.
Мы так легко меняемся мостами,
Которые необходимо сжечь.

Открой — чтоб мне читать тебя в пути,
Страницами сплетаться с волосами.
Не сторониться пальцев. Ощутить
Шероховатость твоего касанья.

Коснёшься дна — а там двойное дно.
Открой меня.
Я книга.
Мне темно.

Латунная луна

На тёплой тыльной стороне луны
Латунь хранит латынь крылатой фразы.
Ладонь в ладонь, парабола волны.
Ночь обнажает космос, чтобы сны
Смотреть оттуда безоружным глазом.

И суть вещей становится видней:
Иные имена, переплетенья,
Что трудно разглядеть при свете дней.
Ночь — это время, когда нет теней,
Поскольку в темноте мы сами — тени.

Латунным полумесяцем звеня,
Она вселяет первобытный страх,
Чтобы ладони вновь соединять,
Чтобы смотреть на языки огня
И говорить на этих языках.

Пока вертится день,
торопятся спицы рук,
мир так прост и прочен,
похож на гончарный круг,
где работа-дом,
где ком превращают в чашу.
Но мотив бессонницы выучив назубок,
Видишь старый невод:
так тонок и так глубок,
Что вот-вот — и не выдержит тяжесть нашу.

И понятно, что мы здесь, вроде бы, ни при чём,
Так как каждый ещё при рождении обречён —
В один узел завязаны тропы, пути и броды.
Но гореть —
не то же самое, что сгорать.
Музыкант берёт инструмент,
начинает играть —
Не затем, чтобы скорее дойти до коды.

И в четыре часа,
небесный поймав эфир,
Ясно видишь:
прозрачен, прозрачен мир,
Создающий опять дневную иллюзию тверди,
И что дождь по стеклу тянет щупальца, словно спрут,
И что лики зеркал, как часы, постоянно врут,
И что жизнь —
это лишь немного больше смерти.

Слова и камни

Всё думаешь: да куда мне,
Лучина не топит льды.
Бросаешь слова, как камни
Бросают в ладонь воды.

Круги разойдутся, смолкнут,
Но глянешь ли в глубину —
И только поймёшь, как долго
Твой камень идёт ко дну,

Где может упасть безвольно,
Стать частью материка,
А может черкнуть так больно,
Что помнится на века.

Волна своего улова
Не держит, фарватер пуст.
Ты — камень. Ты просто слово,
Упавшее с Божьих уст.

Невзрачный, убогий, тленный,
Не видишь вокруг ни зги —
А всё же по всей вселенной
Идут от тебя круги.

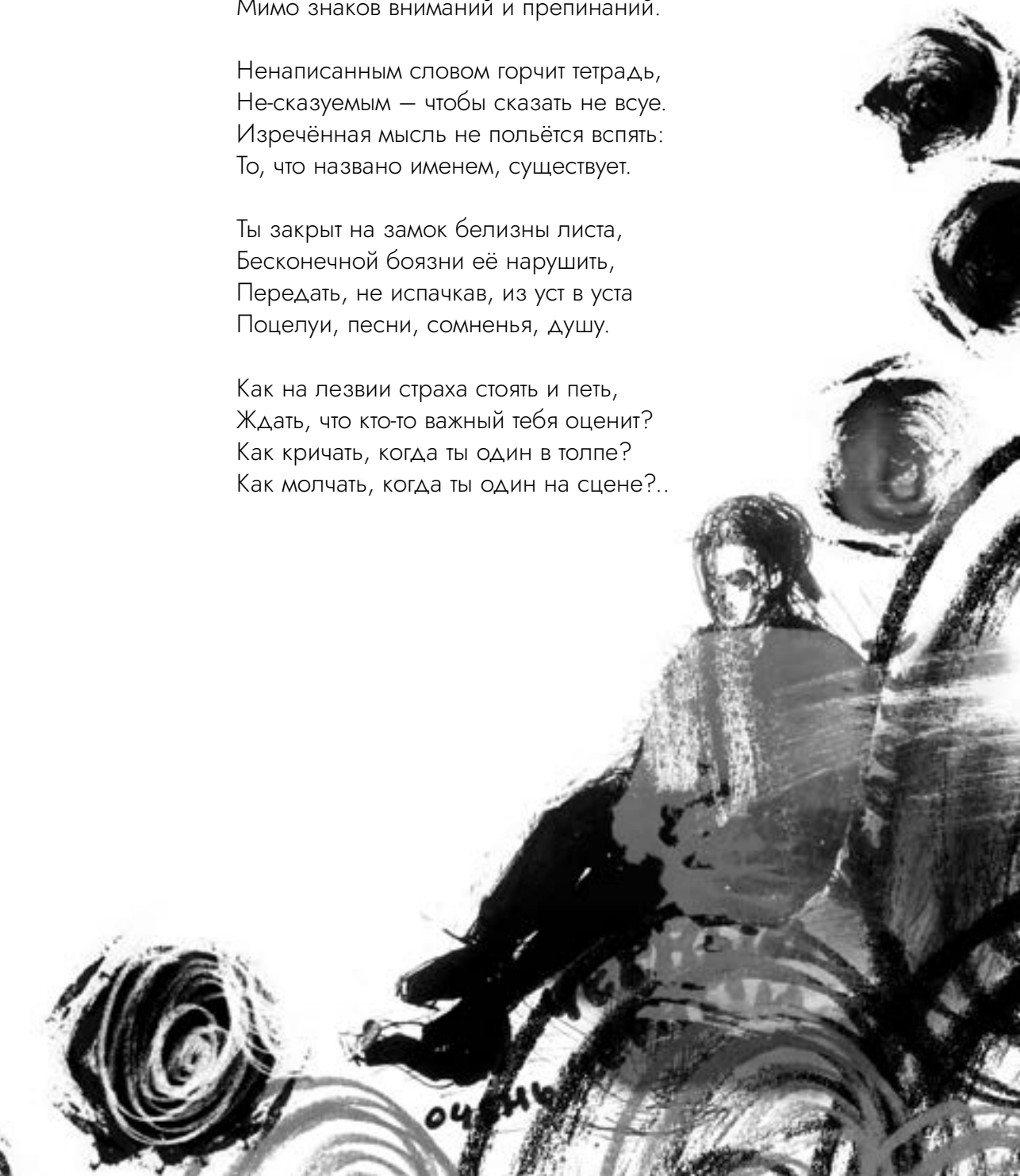


Подлежащее — камень. Вода не течёт.
Подлежащий осмотру багаж знаний
Улетел другим рейсом. Его влечёт
Мимо знаков вниманий и препинаний.

Ненаписанным словом горчит тетрадь,
Не-сказуемым — чтобы сказать не все.
Изречённая мысль не польётся вспять:
То, что названо именем, существует.

Ты закрыт на замок белизны листа,
Бесконечной боязни её нарушить,
Передать, не испачкав, из уст в уста
Поцелуи, песни, сомненья, душу.

Как на лезвии страха стоять и петь,
Ждать, что кто-то важный тебя оценит?
Как кричать, когда ты один в толпе?
Как молчать, когда ты один на сцене?..



Лета Югай

г. Вологда
Стихотворения

В маленькой комнате под самой крышей
дождь подходит так близко,
так близко — ветер,
потому что это первый этаж от неба.

Там, где вчера горлицы бурлили и закипали,
сегодня хлопает крылом сама крыша,
будто дом проверяет свои силы перед полётом.

Так бывало на даче: мокрые гроздья сирени,
банки, переполняемые водой,
и недописанная книга...

Или на корабле:
в раме окна всё небо-небо,
а под ним, верно, море-море...

Или в маленькой комнате под самой крышей,
но не в нашем стабильном мире,
полном жестокости и абсурда,
а в какой-нибудь старой сказке.
Кто-то колдует по тайным книгам,
оттого и ветер взволнован,
летает по крышам, и всех целует,
и сотрясает в своих объятьях...

Калитка

Ты ничего не знаешь об этом мире.
Ты от него защищён лазоревой скорлупой,
Дощатым забором,
Полноцветной сиренью,
Крапивой-шипидцей,
Мокрый беспёрый птенец.

Слизень-близень, ушко-улитка,
Выгляни за калитку.

Белый росток,
Расколи деревянный орешек.

Время пришло,
Яблоки налились,
Путники за оградой состарились.
Мир катится в пропасть, колёса скрежещут, искры летят.

Тропинка

Забирай с собой
Яблоки однобокие, мяту, пустырник и зверобой.
И кольцо изо мха,
Что сплела,
Когда придумывала жениха,
Потому что была мала.
И когда
Ты пойдёшь, не знаю куда,
Мир тебя раскачает и выпьет до дна,
Оставайся одна,
Завари в себе чаю.
Ты добудешь воды,
Если внутренний сад
Будет в срок приносить плоды
И цвести.
Какое-такое
Племя мирян на тебя бы ни набрело,
Сможешь каждому дать тепло,
И покой,
И птичье журчанье,
Не остаться выпитой до молчанья.

Дерево

У этого дерева необъятный обхват ствола:
Улитка шла четырнадцать суток и всё же не обошла.

У этого храма четыреста шрамов в неровной коре:
Булавки, монеты, вросшие в кожу, будто жуки в янтаре.

Под этим вязом всегда начало июня и ветерок,
Он любит стоять у дорог, звать путников на порог.

Уставшего выслушать и пожалеть готов,
На это ему восемьсот раскрытых листов.

Хоть всякий рубит его в угоду лодке или костру,
А всё же дерево остаётся нетронутым поутру.

Я — это лёгкий лист, рассыпающаяся земля,
Каждый гриб прорастающий, лбом бодающий мхи,
Птица, парящая над полями, убранные поля,
Мышь, в тревоге нырнувшая в норку, логово из трухи.
Каждый, кто говорит со мной, и слово его речей,
Каждый, кто строит дом, и дальний расчёт его.
Соль, растворённая в море, валун, повернувший ручей.
Как мне поймать себя, выделить из всего?
Как мне собрать себя по миру, отсеять чужой песок,
Вылепить себя цельною, вылепить и обжечь,
Так, чтоб не потерялся шелестящий на ночь лесок,
Так, чтоб не становилась недоступной чужая речь?

Палыч

Палыч пока не пьяный
С утра сидит, смотрит через стекло
На лилии, яблони.

Тело, как ствол, худое и загорелое,
Высох весь по жене.
Надежда Николаевна, пионервожатая, активистка и комсомолка,
Ходила к нему первый год после смерти
Каждую ночь до двенадцати.
Сидела на кухне, разговаривал с ней, как с живой, а ухватить —
никак.
Потом весь день дурной, ничего делать не может.
После обеда Палыч совсем никакой,
Сопли текут по усам,
Глаза вытекают слезами.
К знающей бабке водили, она что-то наговорила, и жена ходить
перестала.
А он всё равно скучает.

Молодая горожанка говорит:
«У него уже такой распад сознания, что его и слушать не стоит.
Он больной человек, но интересно,
Что он облекает свой бред в формы традиционной культуры».
Сама вспоминает: первый год, как муж её бросил,
Каждое утро слышала звонок по скайпу,
Пыталась проснуться, нажимала «ответить».
Говорили, как раньше. Абсолютно как наяву.
А потом просыпалась ещё раз, в мире, где ноутбук закрыт.
И весь день ходила дурная, ничем не могла заниматься.
Подруга сводила к психологу, он что-то наговорил, и звонки
поутру прекратились.

Палыч превращается в яблоню, кривую и суковатую.
Два синих яблока
Каждый день под водой.
Надежда Николаевна становится птичкой варакушкой,
Садится на ветку,
Поёт
«Там вдали за рекой догорают огни...»

Быличка

У нас сейчас в Яхреньге русалок нет.
Русалки-ти в больших реках, в Сухоне все.
Вот, говорили, деда моего дед
Поймал такую рыбину в сеть.
Хотят они делать пирог ли что,
Лежит она в сенях ли где.
Вдруг бабы в крик: «Что взял в воде,
Отнеси назад, пропадём а то!»
Дед пошёл проверить — открывает рот:
«Положи, где взял» — говорит рыба-та!
Отпустил, где река выходит на поворот,
Было глубже тогда, совсем глубота...
...А над всей деревнею ночь бела,
Рассыпаются птицы, велик и мал.
А под берегом всплеск — то ли ком упал,
То ли Рыба из Сухоны заплыла.

Полудница

Не ходи на поле, когда солнышко высоко.
Не ходи на полдень в эту полную тишину,
Когда закипает воздух, небо как молоко,
Замолкают птицы и камнем идут ко дну.
Не качнётся колос, не пролетит паут.
Переломится время соломинкой под стопой —
И увидишь, как девушки в красных рубахах жнут
Или пляшут в поле и тянут в пляс за собой.
У них косы — горячее золото, лик пригож.
Сарафаны — красное знамя, как ни скажи.
Они ловят детей, зашедших в густую рожь,
Чтоб никогда уж не выйти из этой ржи.



Леший

Он идёт выше всех деревьев, подобен чёрной горе,
У него на руках морщины, глубокие трещины на коре,
Нереальный, как будто ландыши в январе.
У него между пальцев мох, на коленке гриб моховик,
Под лопаткой гнездятся совы, но к этому он привык,
Он несёт в руках девочку, дедушко лесовик.
Её мать в сердцах сказала: «Леший тебя неси!»
Вот она тряпичной куклой на ветках его висит,
По щекам её листья бьют, дождичек моросит.
И ей чудится: руки его становятся горячей,
Она пьёт его речи — чистый лесной ручей.
Так носил её над землёй тридцать дней и тридцать ночей.
Это вам не соседские парни, не сестрин жених балбес!
Он был ангелом, а потом падучей звездой — не даром бес.
Кто куда попадал: овинник — в овин, полудница —
в поле. А этот — в лес.
Он был ангелом, но сгорел в атмосфере и почернел,
У него под кожей земля, под землёю мел.
«Знаешь, девочка, как ты мила, как личика сахар бел».
Вынес прямо к деревне. Бабы нашли, кричат:
«Похудела-то как: одни глаза да кости торчат!»
Ну а сам пошёл к лешачихе, собирая орехи для лешачат.



Ему стало скучно. С ней. Они катались на карусели. Ей было весело и хотелось, чтобы так продолжалось всегда. Они забрели в этот парк. И вот теперь карусель крутилась и крутилась, а он понимал, что скучно. И что такое уже не исправить. Еще утром он волновался, предвкушал встречу с ней. Боялся, вдруг не придёт. И если такое случится, как ему жить дальше.

Она пришла. Шла, весело помахивая сумкой. А он вдруг ощутил на себе, что значит почерпнутое из книг «сердце забилось». И это было действительно так. Он вытер ладони, да, они вспотели немного. Он причесал волосы, пропустил сквозь пальцы. Потом подёргал себя за правое ухо, потом топнул правым же ботинком. И всё это, пока она приближалась. Сумочка была маленькая и дамская. Но он всё равно отобрал. И долго сопел рядом, слушая её щебет и не решаясь что-то сказать. Он, как собачка, смотрел на неё, открыв рот, что она даже не выдержала — засмеялась. И он тоже, вместе с ней. Над собой, над всем. Что так хорошо, что и погода тоже хорошая. И что она ой как хороша в своём зелёном летнем платье. Он нёс на плече её маленькую белую сумку и был, наверное, счастлив.

— В парк?

— Ну конечно в парк.

В парке он купил ей мороженое. Самое лучшее. Так он попросил у продавщицы.

— А у нас всё самое лучшее, — сонно ответствовала продавщица, подавая самый мятый, самый растаявший брикетик и прося за него втрое больше, нежели б действие происходило в обычном магазине.

А она отобрала у него сумку, сосредоточенно выискала в ней салфетку, обвернула мороженое и стала ловить тающие капли. Она морщила носик. И они оба смеялись над этим. Он водил её по аллеям, чинно, держа за локоток. А потом они целовались в беседке из цветов. Так, что всё вокруг кружилось и без карусели. До карусели они дошли позже, до неё нужно было подняться на пригорок. И они бежали, кто вперёд. Он, конечно, позволил ей опередить себя.

В деревянной будке купили билеты. Сели на проржавевшие лавочки, пристегнулись и полетели. А потом она захотела ещё. И он решил, что, пусть ещё один круг, а он ей помашет. Зелёное платье взмылось навстречу ветру. И вдруг он понял, что скучно. Он шёл, а за спиной продолжала работать карусель. Он пришёл домой. Сразу лёг спать. И больше никогда ей не позвонил.

Цирк

На день рождения папа обещал сводить Свету в цирк.

Цирк Света не очень любит. Но все вокруг этим цирком восторгались. А папа ещё вздыхал, что билеты дорогие в первых рядах. Папа всегда брал билеты только в первых рядах. И ходить в цирк надо было обязательно, так он считал. Вот ему самому в детстве «не додали культуры». В том смысле, что его, в отличие от Светы, никуда не водили. И даже денег на кино, самое дешёвое, не давали.

День рождения был папин, а не Светин. Поэтому в цирк идти пришлось. Так бы Света смоталась куда-то гулять. Но папу надо было оберегать. От стрессов, от сквозняков, от плохих новостей. Врач сказал, что папе нужны исключительно положительные эмоции.

Когда Свете было два года, папа, что называется, загулял. С тётёй Олей. И тётя Оля заявила, чтобы папа выбирал. И папа выбрал Свету и маму. А у тёти Оли был поклонник, клоун из цирка. Тётя Оля попросила его Светиною папу убить, когда тот на бульваре будет. Мол, ты прямо так, в гриме, и иди, тогда никто не узнает. А я за тебя потом замуж выйду, ты меня столько лет ждёшь.

А клоун так любил тётю Олю, тем более, что та ему пистолет принесла в коробке из-под печенья. Датского. А клоун любил датское печенье. Не как тётю Олю, но тоже очень сильно.

Клоун пошёл и стал стрелять. Но он стрелял в первый раз в жизни. И не попал.

Что было с тётёй Олей и клоуном, Света не знает. А мама потом всё равно ушла от папы. И от Светы почему-то тоже.

Каждое воскресенье папа Свету ведёт «окультуриваться», чаще всего в цирк.

Потому что он считает — культура должна быть выше предрассудков.

И идёт туда со Светой. Как и год назад, и два, и четыре. И сколько это ещё будет продолжаться?

Света иногда жалеет, что клоун промахнулся. Но потом молится, стоя на коленях, что грех так желать, и продолжает ходить в цирк дальше.

#35mm



#безлюдное





Елена Погорелая

г. Москва

Стихотворения

С.Э.

Три тысячи раз светало
С тех пор, как тебя не стало.
Со дня твоего предела
Три тысячи звёзд сгорело.
Но слишком доверчив к чуду
Январь, и холмы повсюду
Полны голубого блеска —
До чёрного перелеска.

Так смотришь ты исподлобья
Поверх своего надгробья,
Поверх ледяной пустыни —
Как будто весь мир отныне
Прозрел — и, обретший имя,
Глазами глядит твоими.
А вместо меня, безвестной,
Хранит тебя свет небесный.

...Он глотнул пивка, он сказал: пока, мол, хорош реветь из-за пустяка, мол, чего ты хочешь, я всё сказал, я тебе два года смотрел в глаза, у меня плацкарт через полчаса, мне давно пора на вокзал!..

Говоришь: ну, конечно, иди, пора. Мы с тобой простились ещё вчера, я вообще люблю тебя как сестра, а что в слезах с утра — извини, жара... Всё, иди скорей, со шпаной не пей. Будет время — пиши, окей?..

Он глядит, сквозной: «Золотой весной не дыши мне в спину, не сыпь казной, подо мной качается шар земной, жизнь проносится стороной! Города горят, и мосты горят. Я не сплю четвёртую ночь подряд, а вокруг говорят — доигрался, брат,

поделом тебе, говорят... Что ты шпаришь мне про свою тоску?! Я ночами дуло веду к виску, я хожу над бездной по волоску — расплети, развяжи, раскуй!.. А не можешь — к чертям, не хватает зла. У меня — друзья, у тебя — дела. Я сломил крыла, я сгорел дотла, я хочу, чтобы ты ушла!»

...Говоришь в ответ через двадцать лет: «У меня никого, мой любимый, нет, я тебе всё время смотрела вслед — и глаза потеряли цвет. Я нашла твой страх на своей стерне: я хожу над пропастью по струне, я пляшу на проволоке в огне, в небесах — звезда, синева — на дне.

И когда я буду кричать во сне, только ты не ответишь мне...»

...Так мало вместе прожили, что нет
Ещё ни сна, ни вздора, ни привычки;
Что небо, излучающее свет,
Фрагмент собора, замкнутый в кавычки
Дворов, — мы смутно видим из окна.
Тесны объятия, комната тесна.
«Ты спишь?» — ты спишь.
Дождь был и перестал.
Так мало вместе прожили, что надо
Понять, что еженощный ритуал
Есть продолжение древнего обряда
В заброшенной часовне угловой
С изображеньем звёзд над головой
И россыпью сирени, с холодка
Внесённой в коммунальное убранство.
Пылятся книги. Гаснут облака.
Впотьмах хозяйка вещего пространства
Вращает часовое колесо:
На двадцать лет...
На тридцать лет...
На со...

Любовь не проходит: проходит боль,
Носиться с которой — спесь.
А слёзы, бегущие ночью вдоль
Щеки, — это вздор. Ты здесь.
Ты здесь, ты к подушке виском приник,
И родинки на спине —
Как звёздная карта, на краткий миг
Раскрытая только мне...

Преображение

Август ветреным и пустым
Подошёл к своему исходу.
До рассвета ложится дым
На зацветшую ночью воду —
И в глазах у тебя плывёт
Тихой звонницы отраженье...
Вот и жизнь пролетела от
Рождества — до Преображенья.

Нынче праздничным будет день...
А ночлег в этом доме труден,
Потому что дома людей
Помнят лучше, чем нужно людям.
И бессменно глядят года,
Прислонившись к оконной раме,
Как мерцает в пруду вода
Опрокинутыми огнями.

Скоро ночь. Отгрохотало.
В топких кущах краснотала
заливаются щеглы.
Через брошенный просёлок

мокрый движется лосёнок
из сгущающейся мглы.

Спи: в грозу спокойно спишься.
Свищут вспугнутые птицы,
дотлевают край небес.
Хоть в престольной,
 хоть в удельной
спи под шёпот колыбельный:
пусть тебе приснится лес —

мокрый лес, где листья сладки,
где восторженные славки
свирисят наперебой,
где спросонок
 на просёлок
выбирается лосёнок,
торопясь на водопой.

А за ним и мы с тобой.

Всё сбылось, — говорит земля,
Поднимая стога над полем.
Всё сбылось.
Прожила не зря
И не зря не боялась боли.
Пусть и ночь теперь — не моя,
Пусть на нежность уже не вправе —
Всё сбылось, — говорит земля.
«Всё сбылось, — отвечаю. —
Ave...»

К тебе нельзя. Я вытердила всё
За столько лет. Я вытержу и это.
К тебе нельзя. А город занесён
До самых крыш — трёхстишьями Басё,
Великого японского поэта.
К тебе нельзя. Валит крещенский снег.
А там, как прежде, — поднятая штора,
И календарь на северной стене,
И силуэт в оранжевом окне,
В оранжевом... Оно погаснет скоро —
В такое время там не ждут гостей...
И женщина под бежевою шалью,
Заметив, что на улице метель,
Опустит штору, сядет на постель...
К тебе — нельзя. А я не помешаю,
А я уйду. Раз выдержала всё
За столько лет — я выдержу и это.
К тебе нельзя... А город занесён —
До самых крыш — трёхстишьями Басё:
И твоего любимого поэта...



Просеки ведут нас золотой нитью по кривизне повествования. Пустая остановка. Щурясь — ты через поцелуй узнаёшь маршрут. Солнца хватит на две жизни. Мы не хотим верить в серые сумерки, мешающие найти дом. Ты просишь ещё несколько минут на то, чтобы согреться. Огонь делает видимым твоё тело, исписанное нервными строчками. Дрожала свеча у влажных стен. У сухих — гасла. Деревянная лестница берёт тебя в рамку. Справа — пруд не даёт уйти. Местность оживляет куклы. Покажи немного из того, что тебя греет, затем усыпляет. Холод только на концах ржавой проволоки, оплетающей любые руки, тянущиеся к тебе. Эта осень выдала нам свежие карты. Раньше мне не хватало всех ночей в году, чтобы сделать хоть одну пометку. Собираемся в поцелуе. Перрон. Шипит краска на секундной стрелке. Цветные ожоги. Буквы остывают в лунной воде. Паришь над зрением, хруст снега во рту. Не могу произнести тебя, только слышать. Заходи через окно, разбрасывая по ветру пустые страницы. Маяк лепит меня с изнанки текста. Вороньё. Море выбрасывает пружины, натягивающие ещё вчера ветер на берег. Мы не делим язык, а он сшивает старые дырявые паруса. Вода заходит только сверху. Трюмы не слышат течений: раковина, распущенная в тонкую леску, дрожит беззвучно с той лишь целью, чтобы удержать воздушного змея. Тихий джаз, сонливость. Собирай урожай: вышли буквы из тёмных вод.

Густым туманом слеплены глаза

*

Щелевой зной в отрицательном зеркале принимает контур мякоти. Двойник ветвась. Степь раздирает зуд до камня. Корневая зола. Комья нефти носит ветром по двору белая ночь, в то время как каменные дети, застывшие на сквозном острие, вытаскивают из множеств горизонты. Вязание льда, как воск, сковал слог. Позвякивают нули в ситуативном тесте. Открыт потоку пластиковый глаз.

*

Степь рыдает в эскиз ветра. Корчится костёр в пешеходе. Камуфляж. Где-то у корневища снова слышишь своё имя. Песок строит горло из колец, забинтованных водой. Рассеянные пирамиды вдоль разбитых рук, лепящих взгляд. Больше, чем эпителий — лес — населённый иней — выстилает внутренность плазмы, замыкающей часы в полночь. Я пишу «свет», и чернила струятся в окна.

*

Кратер разлит на тетрадь. Ты ещё можешь плести разговор из молока и соли? Мосты — тени слов. Нити в матовом стекле тумана. Запотевшее — пылает левая сторона снега, разворачивая отражения вовнутрь листопада, когда он на секунду показывает своё каменное зрение. Я ищу кровь, разбросанную по дорогам, и слышу, как сыпается пыль в мою правую ладонь. Где же поле, научившее меня когда-то задувать след, как свечу, молчанием?

Карта к свету

Ты говорила, что с детства боишься темноты. Прими от меня эти кусочки карты, нарисованные от руки. Я не смог её сохранить целостной, потому что темнота растёт из центра. Мне пришлось разорвать все условные маршруты. Это дало возможность свету проникнуть в замирание между шагами. Мы носим белые одежды, чтобы день не порезался о нас. Узнай здесь дым, утолщённый до нитей. Его ткань — одежда города на рассвете.

Я разбиваю кувшин. Теперь ты сможешь хотя бы один раз напиться вдоволь. Черепки — горсть жажды. Сожми крепче их в кулаке, и вода уже просится в рост.

Гнёзда. Следуй их контуром для правильного произношения. Птенец вызревает в яйце, чтобы стирать надписи. Чистые холсты, укрытые перьями. Крыша дома — первое упражнение в письме. Сверху вниз летит остриё карандаша по бумаге. Росчерк птицы. Воздух — тетрадь. Чтобы удержаться в его клетках, для начала выйди из скорлупы.

Капающая из крана вода отсылает меня к пересмотру теней в языке. Они разбегаются — стоит задуматься о произношении. Ты ставишь эту запись снова и снова, чтобы не говорить. Тёмные пятна медленно опускаются на дно кувшина. Языку нужно время для рафинированного осадка. Металлолом.

Проволока царапает руки и горло. Не стремись перелезть через стену, если не готова отпустить кровь. Строчки, написанные в темноте, пока она спит, ничего не подозревая. С изнанки. В животе. На ещё пока целой карте. Пуповине, ведущей к свету, к его былым тканям, ждущим первого крика, того, что оседает на стенках отпущенного.

Бессоница

Проснуться до того, как солнце даст крылу птицы тень рассеять падение света на окне слева от мысли: набегают сонливость. В слюде ищи ключ от моря, книги — поля шляпы, вывернутой наизнанку — оседает на края пепел с раздетого пшеничного зерна, дышит: карандаш: паутина на очках. В неизвестности близким. Горизонт присох к туману — его аорта. Когда ты — из глубины теней, сквозь мякоть зноя, чтобы передать письмо, вытягиваешь руку, потом две — удержать равновесие на тонкой линии, переходящей в бесконечное удвоение открытых друг другу высот, с которых снимаешь спокойствие плёнкой, не отягощённых взглядом, так что остаётся слушать изгибы легчающей магмы почти у корней, питающих условность горизонта перед тобой, быть может — рот её всего лишь у самых зрачков — приоткрыт, напоминая тайну между точкой и вертикалью в утренних всплесках меланхолии, стремлении цвета к преобладанию над фоном, но «я» отдаёт предпочтение останкам трамваев, пене, мешающей дыханию. Трава перерастает в песок. Со дна — руки. Что сказать, когда даль закипает дословно.

Елена Лапшина

г. Москва

Стихотворения

Хорошо бы жить, ничего не зная —
вот тебе коврижка-ватрушка-сайка.
Если мир — тарелочка расписная,
то и жизнь — что яблочко-покатайка.
Жаль, не наливное, а так — китайка.
Да тебе неймётся — всё ищешь смысла.
Куды котишься, ладная, молодая? —
переставляя то падежи, то числа,
на кофейной гуще впотьмах гадая.
Вечный голод яблоком заедая.
Видно, не по разуму эта ревность.
Никни, долгий волос в косу свивая.
Засыпай, отравленная царевна, —
матери оскомины вековая.

Поговори со мной, стоящий за спиною,
не поминая зла, утешь меня, утешь
на этом языке, где самое родное —
страдательный залог, винительный падеж.
Услышь меня, пока шепчу из-за плеча я,
покуда сторожу и времени сполна.
Я слышу голоса, но слов не различаю,
уже не вижу лиц, но помню имена.
Я с ними говорю, стоявшими заслоном.
Их, прозвучавших здесь, там — эхо повторит.
И ты пойдёшь за мной, как я иду за Словом,
и тот, кто за тобой, — пусть с нами говорит.

Сны мои раз от раза всё безнадежней.
Выйдешь с утра во двор, поглядишь обаче, —
нет, не проснулась: воздух и морок здешний,
всюду просевший снег, крендельки собачьи.

Знать бы наверняка, так гори — не жалко.
Сдюжу-таки, поокаю, посижу тут.
[Вот бы и мне в девичестве сесть за прялку,
яблоко съесть, а далее — по сюжету...]
Пальцем не шевельну [рыбья кровь — водица], —
принц белоконный будет ломиться в двери.
Без поцелуя, только бы пробудиться.
Не по делам, пожалуйста, но по вере.

Сломанными флажками сверху сигналил птица.
Кто её понимает? — нет никого окрест.
Только над прудом ива — будто пришла топиться.
Ива стоит и плачет, чёрную землю ест.
Бездна небес глядится в тёмный нагрудник пруда,
видя в нём только птицу, рваный её полёт.
Небо само не может жить ожиданьем чуда.
Ива стоит и плачет, чёрную воду пьёт.
Что у неё за горе? Кто её здесь оставил?
Но прибежит купаться — выгнется и вперёд! —
тонкий и голенастый, с виду как будто Авель.
Ива ему смеётся, — кто её разберёт.

Как балерина в комнате пустой, —
на цыпочках, под зимним одеялом, —
ты подойди, у зеркала постой.
Пододеяльник — белое на алом...
И невозможно маленькой стопой
коснуться досок крашеного пола.
Ты поджимаешь пальцы... Бог с тобой...
Ветрянка, жар, пропущенная школа,
отметины зелёнки на белье
и, будто в крылья тяжкие одета,
ты всё долбишь своё батман-плие,
ещё живая девочка-Одетта.

И вроде бы лёта короче, а зимы лютей,
и ночи бессонней, а сны наяву — беспробудней.
Уже фотографии стали дороже людей,
а воспоминания ближе сегодняшних будней.
И вещи уже тяготят, хоронясь по углам,
теснят в неуюте квартиры (тоска городская) —
желанные прежде — теперь превращаются в хлам.
Лишь те, что из детства, упорствуют, не отпуская.
И вот бы проснуться отсюда, и там — наяву —
себе постаревшей, как старому другу, доверя
и ключ от квартиры, в которой уже не живу,
и запахи комнат, и звук открываемой двери...
И чтобы все живы, и в воздухе пыльная взвесь,
воскресное утро, на кухне вещает столица.
И всё, что даётся, и всё, что кончается здесь,
вне места и времени длится,
и длится,
и длится...

В той тишине, где яблони обветшали,
яблоко стукнет ржавый в траве ушат,
сумерки подошли в комариной шали,
листья шуршат.
Под одеялом то зазнобит, то жарко.
Склянкую ночь в проёме окна блестит.
Дождь шелестит, как лук шелушит кухарка,
дождь шелестит...
Дождь шелестит, и слыша его вполуха,
против течения в горнее уходя
и засыпая, сгорбишься, как старуха,
тая столпом соляным в глубине дождя.

В бессилии слова, в молчании немоты,
когда холодеет воздух до ломоты
и тянутся длинные тени со всех тенет, —
он так обнимает меня, будто смерти нет.
Но всё ж — разделённые смертною пеленой, —
и я лишь на ощупь знаю, что он со мной.

И каждый из нас объят земным пленён,
и ночь, — как стремнина, и мы в темноте плывём,
до боли ладони стиснув, разъяв умы.
И нам не спасти друг друга от этой тьмы,
где мы — в наготе, в бессилии, без прикрас,
где должен быть Кто-то Третий промежду





Жало:

критика

Вes

Башня из белых стиральных машин и её окрестности

О людях, вещах и складках в новой книге Владимира Навроцкого

Возведение башен — характерное для поэтов занятие. Немало этих сооружений как в отечественной, так и в зарубежной поэтической традиции. Вот и Владимир Навроцкий построил свою версию — только не из слоновой кости, а из белых стиральных машин и «прочего горького скарба». И в эту фантастическую конструкцию вплелись летучие ощущения, воспоминания и сны.

Башня Навроцкого — отнюдь не символ самоизоляции, снобизма, обособления от повседневности и любования аристократизмом собственного духа. Скорее, наоборот, построенная из бытовой техники, она — росток техногенного мира, эпохи потребления и всяческих явлений с приставкой «пост-».

Немного Вавилонская, готовая стать космическим кораблём, вписанная в постиндустриальный пейзаж, — эта башня — отличная площадка для пограничника, дозорного, чуткого к веяниям нашего тревожного века. Площадка, предоставляющая нестандартные ракурсы для наблюдателя, вносящего в свою хронику то, что другие не замечают или видят лишь краешком глаза.

Постоянно ускользающая, убегающая во времени реальность — она тоже заметила внимательного своего историографа и не спешит отпустить, настоятельно требуя (именно требуя — помните: «пока не требует поэта...») своего продолжения в пространстве текста. Поэтому как бы ни влекло к себе райское состояние молчания, уютный Молчательный Штабик должен остаться «местом, в которое нам нельзя». Нельзя потому, что «кто-то же должен всё это запомнить, сериализовать / спасти отсюда наружу. / кажется, что только для этого ты и нужен». «Спасителем звука» быть всё-таки приходится.

«Всё, что просит быть вспомненным», зафиксированным, отменяет право на блаженное молчание. Поэт, прежде всего, — голос, и не всегда свой собственный. Голос всего того, кто / что отчаянно нуждается в выражении, бессловесно «тихонько воет». «Тебе теперь думать, / что эти люди / Сказали бы, если б хотели». Не только люди, но и вещи.

Вещность текстов Навроцкого граничит с овеществлением, когда человеческие отношения и чувства опредмечиваются. Люди обезличиваются, а вещи обретают человеческое измерение. И сам автор порой становится наблюдателем изнутри предметов: «ты не ты, а размазанный тут везде наблюдатель / только что был песочницей, а теперь пластмассовый красный солдатик».

Разношёрстные обитатели текстов Навроцкого (пожилой учитель ОБЖ, свидетели апокалипсиса, обыватели-соседи, рабочие и роботы, близкие и чужие, живые и мёртвые) раскрываются через привычные вещи и артефакты. Через шелестящие на ветру старые магнитные кассетные ленты, лебеди из покрышек, забытые в песочнице игрушки... История жизни человека, семьи, поколения, ландшафт снов и фантазий — всё это воссоздаётся фактурными, осязаемо-вещными мазками.

Вещи то предстают по-детски волшебными, выступают как опора и убежище, то ведут себя как монструозные, бунтующие против человека агрессоры. Так, неумолимо и устрашающе ведут себя предметы в фантазмагоричных стихотворениях «Жесть», «Робототехника», «Полковник Сандерс», «Рулон». Однако сквозь гротеск и иронию в этих текстах подспудно проступает грусть. И грусть эта о несовершенстве человека и мира. Но даже это несовершенное трогательно и дорого своей мимолётностью, неповторимостью.

Скопление предметов на страницах сборника иногда может показаться избыточным и случайным. Но в мире, где и у людей, и у роботов, и у вещей «не вышло стать всему этому крепкой частью», такое нагромождение как раз закономерно. Оно — знамение распадающегося на пиксели времени, характеристика эпохи материальных благ, не способных скрепить мир в единое целое.

А в щедро рассыпанных по книге постапокалиптических сюжетах именно вещи становятся единственными нашими наследниками, хранителями памяти о нас. И это роднит их с текстами самого Навроцкого.

На фоне этой почти тотальной вещности интересен лейтмотив складок и драпировок («в том доме везде драпировки», «складки местности», «тюлевые лабиринты» и др.). Зачем они здесь и что скрывают? Любовь художника к лишённым прагматики нерепрезентативным формам, чистой естественности, о которой говорил Олдос Хаксли в «Дверях восприятия»?

«Драпировки — живые иероглифы, которые... выразительно замышляют невообразимую тайну чистого бытия... складчатые формы драпировки так странны и драматичны, они захватывают взгляд и таким способом заставляют внимание обратиться к чудесному факту просто существования... Вот как следует видеть, каковы вещи на самом деле. Просто смотреть, просто быть божественным Не-Я цветка, книги, стула, фланели», — писал Хаксли.

Действительно, у Навроцкого при всём его внимании к деталям и любви к конкретике присутствует осознание, что самое главное всё-таки не поддается чётким формулировкам. «Нельзя ни к чему там присматриваться, оно под глазами течёт и тает». Есть плёнки, проявка которых требует особой осторожности. Неправильный словесный мазок, штрих — и картинка растает, скроется навсегда в тех самых драпировках — в затекстовом глухонемом пространстве, в небытии. Поэтому именно колыхание складок порой — самый верный способ запечатлеть это мимолётно-ускользающее, о чём всегда хорошо знали художники и скульпторы.

Констатируя присутствие невыразимого, все эти драпировки и тюлевые лабиринты в текстах Навроцкого несут семантику междумирья — зазора между явным и непроявленным, между прошлым / настоящим / будущим, между жизнью и смертью. Поэтому однажды именно «по Складкам ПОЛЕЗЕТ ВСЯКОЕ на человеческий запах, тепло и свет».

Тема смерти / конца / апокалипсиса — ещё одна сквозная нить, навывлет прошивающая страницы книги. Её мрачная тень тянется от портящихся кабачков («Натечёт буроватый парфюм») сквозь весь отдающий биполярочкой цикл «Земляное» и многие стихи других циклов («Невермор», «Жесть», «Запихивать в мясорубку», «Парковка» и др.).

Однако поэт всё-таки обретает знание, которое позволяет не испытывать страха перед нависшим грейферным ковшом смерти. Этим знанием, «зачем я здесь и почему здесь всё для меня», и почему «ничего не должен бояться», щедро делятся Горячий Ветер, Тропинка К Лесу, Собственно Лес, Свет-Проходящий-Сквозь. На самом-то деле все мы погружены в беспредельное время и неограниченное пространство. И пуст «рабочего-времени-учёта-журнал». И всех нас ждут «Обещанные приключения».





Тенториум



Владимир Навроцкий

Из книги
«Башня из белых
стиральных машин»

Земляное

Этот цикл составлен из некоторых стихотворений разных лет (примерно 2012–2016), которые объединяет одна тема: земля, земелька, глина, чернозёмчик, супесь, подземные ходы, в общем, понятно.

Оберег

Я не могу, чтоб стихотворение было само по себе
и не выполняло полезной работы
Пусть это оберег будет хотя бы,
или речёвка для созидательного труда
Мы, например, виноград собираем,
давай же ритмично читать чего-то.
То есть, какой виноград, что за бред,
мы же землю копаем,
Землю — копаем — лопатой.
Ну да. Ну да.

Вырыли нашу яму: сорок одна минута
Мы молодцы с тобою, теперь становись сюда.
Впрочем, чего это я,
снова я всё перепутал
Это же мне на краю вставить.
Подожди.
Ну да.

Земляное

Когда раздавали темы для сочинений, я
Надеялся воздух вытянуть
(или хоть воду взять)
Но выпала — чёрная, волглая,
с камешками — земля.
Холодная горка в горсти,
и корешки висят.

Зато — я подумал, выщипывая
фрагменты гнилой травы,
выбрасывая черепки
из песка с перегноем —
Никто не позарится на мои
ямы, овраги, рвы
и тихое
тесное
тёмное

хладное
земляное

И ныне, куда б я ни шёл
(а я не хожу никуда),
Рюкзак штурмовой беру,
в котором всегда со мною:
Мой внутренний паспорт, карточка «виза»,
мазь «золотая звезда»
И — в пачке от «магны», для целости —
чёрное, земляное.

Дженнифер

У Дженнифер дом, небольшая лавка: соль, бакалея, мыло
приходится биться, приходится помнить
полсотни разных вещей
вот только в подвале чуть-чуть повело несколько кирпичей
А впрочем, стена и без них стоит, забила назад, забыла.

Потом, через год, заметила — выдвинулись опять,
впихнула. потом через месяц — лезут и лезут, глядь.
Придвинула бочку. Ну вроде бы держит. Что бы ей не держать.

Назавтра спускается Дженни в подвал — бочка в другом углу.
И дырка в стене, и три кирпича лежат под дырой на полу.

А меж кирпичей, лежащих ребром
в вершинах равностороннего треугольника,
земля благородно-серая, с праздничным отблеском,
комками диаметром с голову школьника.

И Дженнифер смотрит на землю
и видит, что жизнь прошла,
а как бы и не было, словно бы, девочки, вовсе и не жила
бежишь, говорю, суетишься, а после
нечего рассказать,
но вот: концентрат свободы лежит
для той, кто посмеет взять.

и Дженнифер хакает серую землю, жрёт кусок за куском
Ушла, возвращается (где и нашла-то) с палехским туеском
Бегом по соседям — волшебную землю подбрасывает в дома.

Так в городе Лондоне начинается чума.

В мантию

Тут под асфальтом брусчатка
а глубже брёвна
мел
рубероид
ковров перегнивших слой
дальше гранитные плиты, наваленные неровно
синий песок
снова брёвна
опилки с золой
Кафель в ассортименте битый
брёвна ещё
брёвна ещё
брёвна ещё брёвна ещё (в четыре наката)
отходы штамповки
скот скелетированный крупный рогатый

Бетонное перекрытие, изукрашенное смальтой и перламутром
комната с человеком, зелёной лампой, столом, компьютером
Что он там пишет, никак, к сожаленью,
не видно через плечо,
Сколько сюда мы сочились, как майонез в печёночном торте
Думали разузнать о подземных чертогах, аде и чёрте,
Обогатить человечество знанием, и что мы узнали? ничо!

Жалко, напрасно потратили сорок минут
Выдавимся наверх, нельзя же навечно бесплотно растечься тут
Впрочем, у майонеза поверхностного натяженья считай что нет
Значит, наверх никак; значит, пока-пока, белый свет;
Значит, нам путь один: вниз, по трещинкам,
распираемым вечной ночью,
К бессмысленному, неинтересному, мёртвому.
В мантию, в магму, короче.

Рыть её

Мы должны расселяться как плесень в сыре,
на весь земляной объём.

но живём почему-то как плесень
на апельсине, снаружи.

Я хочу

чтобы город беззвучный трёхъярусный,

Чтоб чернозёмный дом,

вот лопата, верёва, фонарь, ведро.

Нужно, ребята, ну же!

Земляное моё непроглядное

тёплое мягкое чувство.

Надо вниз, надо вглубь, и ещё, и ещё,

чтоб убежище, чтобы укрытие.

Надо вынуть породу ведром на верёвке,

пусть будет чёрно,

пусто.

Надо в землю скорее селиться

и рыть её

рыть её

рыть её

рыть её.

Труба

Раскопанная труба согревается солнцем осенним.

Как страшно и холодно ей в земле все эти годы.

Сегодня хотя бы светло, и сегодня ещё воскресенье.

Вчера в этой яме с утра и весь день происходила работа

в оранжевом, также работа в сером, после — работа в синем.

Осталось дожидаться Евстахия и Фаллопия, братьев-горнистов.

С утра подойдут, вострубят как умеют: тихонько,

но звонко и чисто,

труба покроется инеем.

Ещё я скажу, что рельеф тут неровный, а наша труба
пролегает прямо.

Ещё здесь какие-то заборы, коровники.

Мама, мы в аду. Мы в аду, мама.

Медленно доходило

Проснуться и обнаружить, что все исчезли,
никого нигде нет.

Дальше существовать по плану,

подготавливаемому много лет:

питаться консервами,

добытыми в супермаркетах,

избегать отделов с протухшим мясом,

двигаться к морю, меняя машины,

брошенные на трассах.

У моря найти яхту, управляемую в одиночку,

но способную пересечь океан

(если такие, конечно, бывают;

иначе придётся переписывать план),

Несколько лет потратить на поиск оставшихся

(безрезультатный),

исследование (бессмысленное) планеты.

Плывать, ходить, тосковать:

по близким, по разговорам, по интернету.

И тут голоса в голове сообщают,

что ты видел огонь и воздух,

а воды видел даже черес-

чур — но земля обижается;

голоса выводят тебя к ближайшей пещере

или в шахту заброшенную;

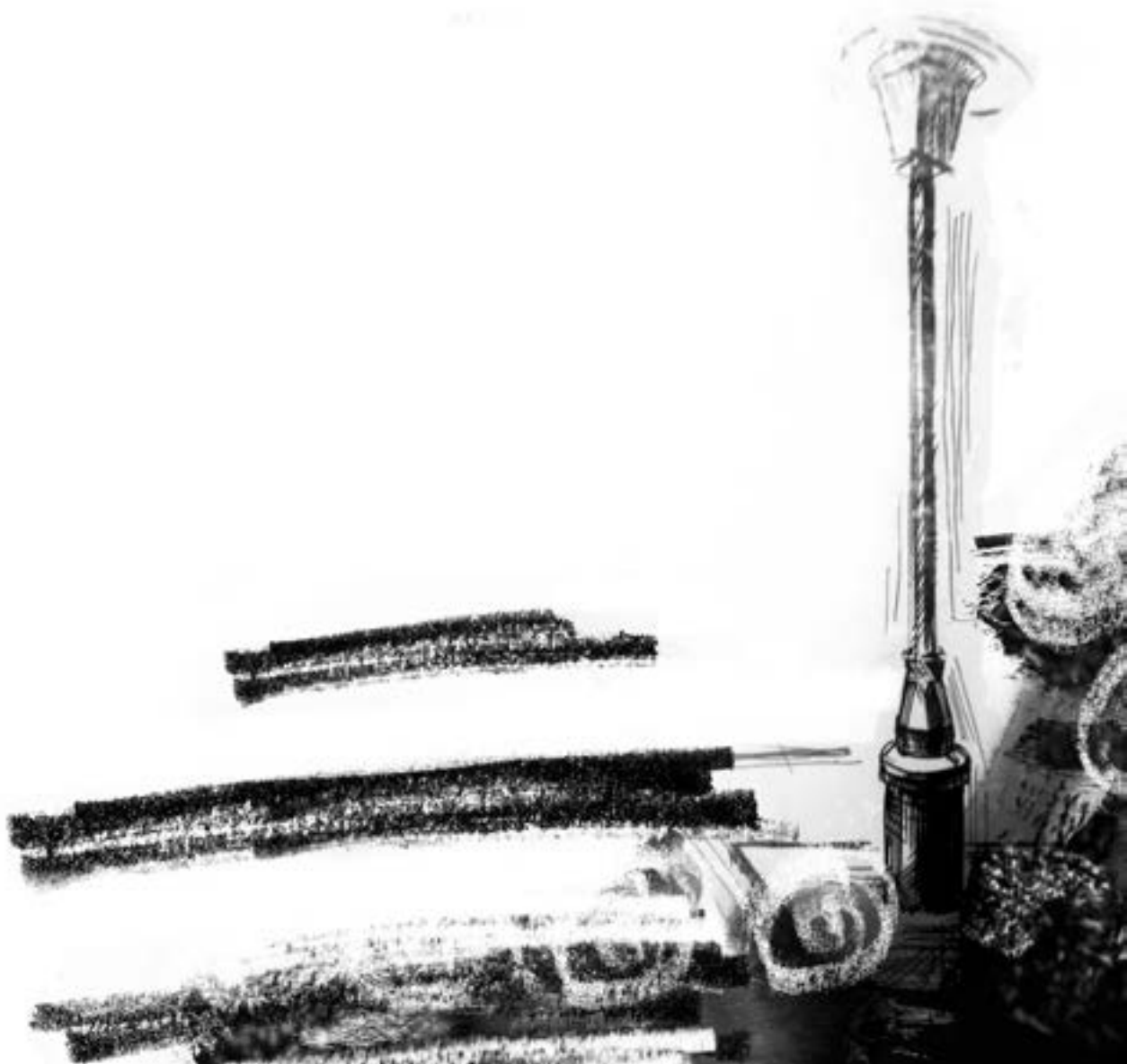
в общем, поближе к аду.

И в этом прыще земли понимаешь,

что только сюда тебе все эти годы

и было надо.
Ведь тут — все ушедшие,
сросшиеся меж собой и с породой,
но более или менее
Живые, хоть и по-своему;
и это грибница и матрица, а не могила.

понятно, что все уже десять лет как здесь,
и тут у них общий разум и единение.
а до тебя просто долго доходит,
как и при жизни
медленно доходило.



4

**Полифлёр:
творчество местных
авторов**

50

**Фотопроект
«МОМЕНТ МЕСТА»**

100

**Соты: коллективная
подборка**

Содержание

- 5 **Юлия Арямова**, стихотворения
8 **Елена Баринова**, стихотворения
14 **Сергей Жидков**, стихотворения
20 **Софья Конищева**, стихотворения
28 **Антон Шумилин**, рассказы
37 **Анна Коржавина**, стихотворения
40 **Ксения Мосина**, стихотворения
43 **Дарья Швецова**, стихотворения
62 **Марина Герасимова**, стихотворения
67 **Евгений Шувалов**, стихотворения
73 **Анна Мартышина**, стихотворения
79 **Екатерина Таранова**, рассказы
90 **Евгений Шторм**, рассказы
93 **Юрий Серебряник**, стихотворения
- 101 **Вадим Борзихин**, стихотворения
102 **Ольга Кузьмина**, стихотворения
106 **Мария Владимцева**, стихотворения
108 **Вячеслав Огнёв**, стихотворения
109 **Ирина Полякова**, рассказы

- Лидия Терёхина** 111
стихотворения
- стихотворения, **Надежда Князева** 121
стихотворения, **Лета Югай** 126
рассказы, **Ксения Жукова** 132
стихотворения, **Елена Погорелая** 136
стихотворения, **Александр Фролов** 141
стихотворения, **Елена Лапшина** 144

Вера Дорошина 149
Башня из белых стиральных машин
и её окрестности. О людях, вещах
и складках в новой книге
Владимира Навроцкого

Владимир Навроцкий 155
стихотворения
Земляное

110

**Про полис: о городе,
в котором живу**

120

**Бортничество:
творчество
приглашённых
авторов**

148

Жало: критика

154

Тенториум



